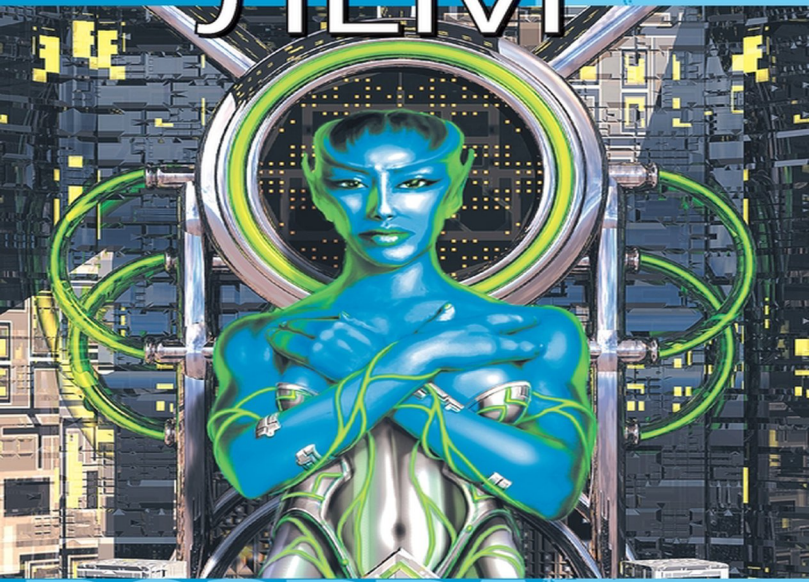
СТАНИСЛАВ Stanisław Lem

ЛЕМ



Возвращение со звезд

Science Fiction

Возвращение со звезд

Станислав Лем

Аннотация
Станислав Лем. Возвращение со звезд
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Аннотация

Роман «Возвращение со звезд» – одно из самых ярких, красивых и необычных произведений Станислава Лема, смело сочетающее в себе черты утопической и антиутопической НФ.

Сюжет его, внешне простой, под гениальным пером писателя превращается в изысканную и глубокую философскую притчу о человеке, обладающем четким пониманием «нормальных» морально-этических представлений – и оказавшемся в мире, где запрет на насилие стал фактически запретом на человечность…

Станислав Лем
Возвращение со звезд

I

Я не взял с собой ничего, даже плаща. Мне сказали, что это не нужно. Позволили оставить черный свитер: сойдет. А рубашку я отвоевал. Сказал, что буду отвыкать постепенно. В проходе, под нависшим днищем корабля, где мы стояли в толчее, Абс протянул мне руку и многозначительно улыбнулся.

— Только тише…

Об этом я и сам помнил. Осторожно сжал его пальцы. Я был совершенно спокоен. Он хотел еще что-то сказать. Я избавил его от этого, отвернувшись, словно ничего не заметил, и поднялся по ступенькам внутрь корабля. Стюардесса повела меня вперед между рядами кресел. Я не хотел отдельного купе. Успели ли ее предупредить об этом? Кресло бесшумно раздвинулось. Она поправила спинку кресла, улыбнулась мне и отошла. Я сел. Подушки были бездонно мягкие, как и всюду. Спинки такие высокие, что я еле видел других пассажиров.

К яркости женских нарядов я уже привык, но мужчин без всяких на то оснований все еще

подозревал в маскараде и все еще питал робкую надежду, что увижу нормально одетого человека — жалкий самообман. Посадка закончилась быстро, ни у кого не было багажа. Даже портфеля или свертка. У женщин тоже. Женщин было как будто больше. Передо мной сидели две мулатки в накидках из взъерошенных перьев попугая. Видно, такая теперь была птичья мода. Дальше — какая-то супружеская пара с ребенком. После ярких селенофоров перрона и тоннелей, после невыносимо кричащей, фосфоресцирующей растительности на улицах свет вогнутого потолка казался еле тлеющим. Руки мне мешали, я пристроил их на коленях.

Все уже сидели. Восемь рядов серых кресел, ветерок, несущий запах хвои, стихающие разговоры. Я ожидал предупреждения о старте, каких-нибудь сигналов, приказа пристегнуться ремнями — ничего подобного, однако, не произошло. Какие-то неясные тени, словно силуэты бумажных птиц, поплыли назад по матовому потолку. «Что за чертовщина с этими птицами? — беспомощно подумал я. — Может, это что-нибудь означает?»

Я словно одеревенел от постоянного старания не сделать чего-нибудь неподобающего. Так было

уже четыре дня. С первой минуты. Я неизменно отставал от событий, и постоянные усилия понять какую-нибудь беседу или ситуацию превращали это напряжение в чувство, близкое к отчаянию. Я был убежден, что и остальные чувствуют то же самое, но мы не говорили об этом, даже наедине. Мы только подшучивали над собственной мощью, над тем избытком сил, который у нас сохранился: ведь и впрямь приходилось все время быть начеку. Поначалу, например, пытаясь встать, я подпрыгивал до потолка, а любая взятая в руки вещь казалась мне пустой, бумажной. Но управлять собственным телом я научился быстро. Здороваясь, уже никому не причинял боли своим рукопожатием. Это было просто. Только, к сожалению, не так важно.

Слева от меня сидел плотный загорелый мужчина с неестественно блестящими глазами, возможно, от контактных линз. Внезапно он исчез: его кресло разрослось, поручни поднялись вверх и соединились, образовав нечто вроде яйцевидного кокона. Еще несколько человек исчезло в таких же кабинах, похожих на разбухшие саркофаги. Что они там делали? Впрочем, с подобными загадками я сталкивался на каждом шагу и старался не показывать удивления, если

они меня непосредственно не касались.

Интересно, что к людям, которые пялили на нас глаза, узнав, кто мы такие, я относился довольно безразлично. Их изумление не задевало меня, хотя я сразу понял, что в нем нет ни капли восхищения. Раздражали меня скорее те, кто заботился о нас, — сотрудники Адапта. А больше всего, пожалуй, доктор Абс, потому что он обращался со мной, как врач с необычным пациентом, довольно удачно прикидываясь, что имеет дело как раз с вполне нормальным человеком. А когда притворяться становилось невозможно, он острил.

Мне надоели его остроты и притворная непосредственность. Любой встречный (так по крайней мере я полагал), если его спросить, признал бы меня или Олафа себе подобным — ведь не столько мы сами должны были казаться ненормальными, сколько наше прошлое, действительно необычное. Но доктор Абс, как и все в Адапте, знал, что и сами мы другие. В нашем отличии от других не было ничего почетного, оно было лишь помехой для понимания, для самого простого разговора, да что там — мы даже не знали, как теперь открывать двери, поскольку дверные ручки исчезли лет пятьдесят—шестьдесят назад.

Старт наступил неожиданно. Тяжесть не изменилась ни на йоту, ни один звук не проник в герметическую кабину, тени все так же мерно плыли по потолку — может быть, многолетний опыт, выработавшийся инстинкт внезапно подсказали мне, что мы находимся в пространстве, и это была уверенность, а не предположение.

Впрочем, меня занимало совсем другое. Уж слишком легко мне удалось настоять на своем. Даже Освамм не очень-то возражал. Доводы, которые выдвигали они с Абсом, были неубедительны, я сам мог бы придумать лучше. Они настаивали только на одном — что каждый из нас должен лететь отдельно. Они даже не ставили мне в вину то, что я подбил на эту поездку и Олафа (если б не я, он, наверно, согласился бы остаться у них подольше). Это наводило на размышления. Я ожидал осложнений, чего-то такого, что в самую последнюю минуту сведет весь мой план на нет, но ничего не произошло — и вот я лечу. Это последнее путешествие должно закончиться через пятнадцать минут.

Совершенно ясно: то, что я задумал, и то, как я добивался досрочного отъезда, не было для них неожиданностью. Подобные реакции, по-видимому, были внесены в их каталог, значились в

их психотехнических таблицах под соответствующими номерами, как стереотип поведения, свойственный именно таким молодчикам, как я. Они позволили мне лететь — почему? Опыт подсказывал им, что я все равно не справлюсь сам? Ведь вся эта «самостоятельная» эскапада сводилась к перелету из одного порта в другой, где меня должен был ждать кто-то из земного Адапта, и все, что мне предстояло самому совершить, это отыскать нужного человека в условленном месте.

Что-то случилось. Послышались возбужденные голоса. Я выглянул из своего кресла. Женщина, сидевшая через несколько рядов от меня, оттолкнула стюардессу, и та, словно от этого не такого уж сильного толчка, пятилась по проходу медленно, как-то автоматически, а женщина повторяла: «Я не позволю! Пусть *это* ко мне не прикасается!» Лица женщины я не видел. Сопровождавший ее мужчина, схватив ее за руку, что-то успокаивающе говорил ей. Что означала эта сцена? Остальные пассажиры просто не обратили на нее внимания. В который уж раз меня охватило ощущение неимоверной отчужденности. Я поглядел снизу вверх на стюардессу. Она остановилась как раз возле моего кресла все с той же неизменной

улыбкой. Девушка улыбалась искренне, явно не ради того, чтобы скрыть огорчение. Она не притворялась спокойной — она действительно была спокойна.

— Выпьете что-нибудь? Прум, экстран, морр, сидр?

Мелодичный голос. Я отрицательно покачал головой. Мне хотелось сказать ей что-нибудь приятное, но я решился всего лишь на банальный вопрос:

— Когда посадка?

— Через шесть минут. Съедите что-нибудь? Вам незачем спешить. Можно остаться и после посадки.

— Нет, благодарю.

Она отошла.

В воздухе, прямо перед глазами, на фоне спинки стоявшего передо мной кресла, возникла словно вырисованная быстрым движением кончика тлеющей папиросы надпись: СТРАТО. Я наклонился, чтобы посмотреть, откуда она взялась, и вздрогнул — спинка моего кресла последовала за мной и мягко обняла меня. Я уже знал, что мебель предупредительно реагирует на любое изменение позы, но все время забывал об этом. Это было неприятно — словно кто-то следил за

каждым твоим движением. Я попробовал вернуться в прежнее положение, но, видно, сделал это слишком энергично. Кресло неправильно поняло мои намерения и раскрылось, совсем как кровать. Я вскочил. Что за идиотизм! Больше самообладания. Наконец уселся снова. Буквы розового СТРАТО задрожали и превратились в другие: ТЕРМИНАЛ. Никаких толчков, предупреждений, свиста. Раздался далекий звук, напоминавший рожок почтальона, четыре овальные двери в конце проходов между сиденьями широко распахнулись, и внутрь ворвался глухой, всепроникающий шум, словно гул моря. Голоса пассажиров бесследно потонули в этом шуме.

Я продолжал сидеть, а люди выходили. Один за другим мелькали на фоне льющегося снаружи света их силуэты — то зеленым, то пурпурным, то лиловым — настоящий бал-маскарад. Наконец все вышли. Я встал. Машинально одернул свитер. Как-то нелепо так идти, с пустыми руками. Из дверей тянул прохладный ветерок. Я обернулся. Стюардесса стояла у перегородки, не касаясь ее спиной. На лице ее застыла все та же радушная улыбка, обращенная теперь к пустым рядам кресел, которые начали неторопливо сворачиваться, складываться, словно какие-то мясистые

цветы, одни быстрее, другие чуть медленней — и это было единственным, что двигалось под аккомпанемент плывущего через овальные двери всепроникающего протяжного шума, напоминавшего о море. «Не хочу, чтобы *это* ко мне прикасалось!» В улыбке вдруг почудилось мне что-то зловещее. Подойдя к двери, я сказал:

— До свидания…

— Всегда к вашим услугам.

Значение этих слов, таких странных в устах молодой красивой женщины, я осознал не сразу, лишь когда отвернулся и уже стоял в дверях. Я хотел поставить ногу на ступеньку, но трапа не было. Между металлическим корпусом и краем перрона зияла щель метровой ширины. Теряя равновесие от неожиданности, неловко прыгнул и уже в воздухе почувствовал, как меня будто подхватывает снизу какой-то невидимый поток, переносит через пустоту и мягко опускает на белую, упруго прогнувшуюся поверхность. Наверно, в полете у меня был довольно нелепый вид, потому что я поймал несколько веселых взглядов, брошенных в мою сторону. Я быстро повернулся и пошел вдоль перрона. Ракета, на которой я прилетел, лежала глубоко в выемке, отделенной от края перрона ничем не огороженной

пустотой. Я словно невзначай приблизился к этой пустоте и снова почувствовал, как что-то упруго оттолкнуло меня от белого края. Я хотел было выяснить, где источники этой странной силы, и вдруг словно очнулся — ведь это уже Земля.

Поток людей увлек меня, я брел в толпе, меня толкали со всех сторон. Я даже не разглядел как следует, до чего громаден этот зал. Впрочем, был ли это один зал? Никаких стен, белый, сверкающий, взметенный ввысь размах неимоверных крыльев, между ними — колонны, созданные головокружительным смерчем. Что это? Стремящиеся вверх гигантские фонтаны какой-то густой жидкости, просвеченные изнутри разноцветными прожекторами? Нет. Вертикальные стеклянные тоннели, по которым проносились вверх вереницы расплывавшихся в стремительном полете машин? Я уже ничего не понимал. Меня непрерывно толкали, поворачивали, я пытался выбраться из этой муравьиной толчеи на свободное место, но свободного места не было. Я был на голову выше всех и потому смог увидеть, что опустевшая ракета удаляется, — впрочем, нет, это мы уплывали от нее вместе с перроном.

Вверху сверкали огни, в их блеске толпа искрилась и переливалась. Теперь площадка, на

которой мы сгрудились, начала подниматься, и я увидел далеко внизу двойные белые полосы, забитые людьми, и черные зияющие щели вдоль беспомощно застывших огромных корпусов ракет, подобных нашей. Их здесь были десятки. Движущийся перрон поворачивал, ускорял бег, подымался к верхним ярусам. По ним, как по немыслимым, лишенным всякой опоры виадукам, шелестя, взвивая внезапными вихрями волосы людей, проносились округлые, дрожащие от скорости тени со слившимися в сплошную светящуюся ленту сигнальными огнями; потом несущая нас поверхность начала разветвляться, делиться вдоль невидимых швов, моя полоса проносилась сквозь помещения, заполненные сидевшими и стоявшими людьми, их окружало множество мелких искорок, будто они жгли разноцветные бенгальские огни.

Я не знал, куда смотреть. Передо мной стоял мужчина в чем-то пушистом, как мех, переливавшемся металлическим блеском. Он держал под руку женщину в пурпуре. Ее платье было усеяно огромными, как на павлиньих перьях, глазами, и эти глаза мигали. Нет, мне не показалось; глаза ее платья в самом деле открывались и закрывались. Полоса, на которой я стоял за этой парой среди

еще десятка людей, все набирала скорость. За дымчато-белыми, стекловидными плоскостями то и дело возникали разноцветно освещенные проходы с прозрачными потолками, по которым неустанно шли сотни ног на следующем, верхнем этаже; всепроникающий шум то растекался, то сливался вновь, когда очередной тоннель этой неведомо куда ведущей дороги сдавливал тысячи людских голосов и непонятных лишь мне одному звуков; в глубине пространство прорезали мчащиеся полосы каких-то непонятных машин — быть может, летающих, — иногда они шли наискось вверх или устремлялись вниз, ввинчиваясь в пространство. Но нигде не видно было ни рельсов, ни несущих опор воздушной дороги. Когда же эти вихри останавливали на миг свой стремительный бег, из-за них появлялись огромные величественно-медлительные платформы, заполненные людьми, — словно парящие пристани, которые двигались в разных направлениях, расходились, поднимались и, казалось, пронизывали друг друга, но это было уже обманом зрения. Трудно было остановить взгляд на чем-нибудь неподвижном, потому что все кругом, казалось, состояло именно из движения, и даже то, что я сначала принял за крыловидный свод, оказалось

лишь нависавшими друг над другом ярусами, над которыми теперь возникли другие, еще более высокие. Внезапно, просочившись сквозь стеклистые своды, сквозь эти загадочные колонны, отразившись от серебристо-белых плоскостей, заполыхало на всех изгибах пространства, на всех проходах, на лицах людей тяжелое, пурпурное зарево, как будто где-то далеко, в самом сердце гигантского здания запылал атомный огонь. Зеленый свет пляшущих без устали неонов помутнел, молочные параболические контрфорсы порозовели. Этот багрянец, внезапно заполнивший все вокруг, казалось, предвещал катастрофу, но никто не обратил на него ни малейшего внимания. Я даже не заметил, когда он исчез.

У краев нашей полосы то и дело появлялись вращающиеся зеленые кольца, словно повисшие в воздухе неоновые обручи; тогда часть людей переходила на подплывающие ответвления другой полосы или лестницы; я заметил, что сквозь зеленые кольца этого огня можно было проходить свободно, словно они были нематериальны.

Некоторое время я безвольно позволял белой дорожке уносить меня все дальше, затем вдруг подумал, что я, быть может, уже за пределами порта и этот неправдоподобный пейзаж изогну-

того, словно рвущегося в полет стекла и есть уже город, а тот город, который я когда-то покинул, существует лишь в моей памяти.

— Простите, — я коснулся плеча стоявшего впереди мужчины, — где мы находимся?

Мужчина и его спутница посмотрели на меня. Их поднятые ко мне лица выразили удивление. Я все же надеялся, что причиной тому только мой рост.

— На полидуке, — сказал мужчина. — Какой у вас стык?

Я не понял ни слова.

— Мы… еще в порту?

— Конечно, — сказал он, помедлив.

— А где… Внешний Круг?

— Вы его уже пропустили. Придется дублить.

— Лучше раст из Мерида, — вмешалась женщина. Казалось, все глаза ее платья подозрительно и удивленно вглядывались в меня.

— Раст? — повторил я беспомощно.

— Вон там… — Она показала туда, где сквозь подплывающий зеленый круг просвечивало пустое возвышение с серебряно-черными полосатыми боками, похожее на корпус странно размалеванной, лежащей на боку ракеты. Я поблагодарил и сошел с дорожки, но, видимо, не

там, где полагалось, потому что резкий толчок едва не опрокинул меня. Мне удалось удержаться на ногах, но меня так закрутило, что я не знал, куда идти. Пока я размышлял, как быть, место моей пересадки далеко отошло от серебряно-черного возвышения, на которое показывала женщина, и я уже не мог его отыскать. Большинство людей, стоявших рядом, переходило на наклонную полосу, устремлявшуюся вверх, и я сделал то же самое. Уже став на полосу, я увидел огромную, неподвижно пылавшую в воздухе надпись: ДУК ЦЕНТР — буквы были такие громадные, что начало и конец надписи не умещались в поле зрения. Меня бесшумно вынесло на гигантский, чуть ли не километровый перрон, от которого как раз отделялся веретенообразный корабль. По мере того как он поднимался, становилось все виднее его продырявленное освещенными окнами днище. Кто знает, может быть, именно этот корабль-левиафан и был перроном, а я находился на «расте» — даже спросить было некого, вокруг было безлюдно. Видно, я попал не туда. Часть моего «перрона» была застроена какими-то сплюснутыми помещениями без передних стен. Подойдя, я увидел что-то вроде низких, слабо освещенных боксов, в которых рядами стояли

черные машины. Я принял их за автомобили. Не успел я отойти, как две ближайшие ко мне машины выдвинулись из своих ниш и обошли меня, с места развивая огромную скорость, — и прежде чем они исчезли вдали на параболических склонах, я увидел, что у них нет ни колес, ни окон, ни дверей. Они казались обтекаемыми, как огромные черные капли. «Автомобили или нет — во всяком случае, какая-то стоянка, — подумал я. — Может быть, как раз тех самых „растов“?» По-видимому, лучше всего было обождать, пока не появится кто-нибудь, и отправиться вместе с ним или по крайней мере что-нибудь разузнать. Однако мой перрон, слегка приподнятый, словно крыло невиданного самолета, продолжал оставаться безлюдным, и лишь черные машины одна за другой вырывались из своих ниш и уносились в одну и ту же сторону. Я подошел к самому краю перрона, и упругая невидимая сила снова оттолкнула меня. Перрон и впрямь висел в воздухе, ни на что не опираясь. Подняв голову, я увидел множество таких же перронов, так же неподвижно парящих в пространстве, слабо освещенных; на других перронах, к которым швартовались ракеты, сверкали большие сигнальные лампы. Но нет — это были не ракеты. Это даже не по-

ходило на тот корабль, который доставил меня сюда с Луны.

Я стоял долго, пока не увидел, как на фоне каких-то следующих залов (впрочем, не могу с уверенностью сказать, что это были не зеркальные отражения того зала, в котором я стоял) мерно поплыли в воздухе огненные буквы СОАМО СОАМО СОАМО. Перерыв, голубоватая вспышка и потом НЕОНАКС НЕОНАКС НЕОНАКС — быть может, названия станций или реклама продуктов. Мне это ни о чем не говорило. «Сейчас как раз самое время. Мне давно пора найти этого парня из Адапта», — подумал я, повернулся на каблуках, отыскал идущую в обратную сторону дорожку и спустился вниз. Я оказался совсем не на том ярусе и даже не в том зале, где был раньше, — здесь не было тех огромных колонн. Впрочем, может быть, эти колонны куда-нибудь исчезли, мне уже все казалось возможным.

Я очутился среди целой рощи фонтанов, потом попал в бело-розовый зал, где толпились женщины. Проходя мимо одного из фонтанов, я от нечего делать сунул руку в его подсвеченную струю — может, потому, что приятно было встретить что-нибудь хоть немного знакомое. Но рука не ощутила ничего, эти фонтаны были без воды.

Потом мне почудился запах цветов. Я поднял руку — она пахла, как тысяча кусков туалетного мыла сразу. Я невольно начал вытирать ее о брюки. Это было как раз перед залом, где находились женщины, одни только женщины. На коридор перед туалетом это не походило. Впрочем, разве тут разберешься? Спрашивать не хотелось. Я повернул обратно. Какой-то юноша, одетый так, словно на нем застыла растекшаяся по телу ртуть, раздувшаяся буфами — или вспенившаяся? — на плечах и в обтяжку на бедрах, разговаривал со светловолосой девушкой, прислонившейся к чаше фонтана. Девушка в светлом платье, совершенно обычном — что приободрило меня, — держала в руках букет бледно-розовых цветов и, пряча в них лицо, глазами улыбалась юноше. Но, остановившись возле них и уже открыв рот, я увидел вдруг, что она ест эти цветы — и на миг у меня перехватило дыхание. Она спокойно жевала нежные лепестки. Ее взгляд скользнул по мне. Застыл. Но к этому я уже привык. Я спросил, где находится Внешний Круг.

Мне показалось, что юношу неприятно удивило или даже разозлило, что кто-то осмелился прервать их беседу. Видно, я совершил бестактность. Он посмотрел вверх, потом опустил глаза,

словно думая, что разгадка моего роста в каких-то ходулях. И даже не ответил.

— О, вон там, — воскликнула девушка, — раст на вук, ваш раст, быстрее, вы еще успеете!

Я пустился бегом в указанную сторону, сам не зная куда, ведь я по-прежнему понятия не имел, как выглядит этот проклятый раст. Пробежав шагов десять, я увидел серебристую воронку, спускающуюся сверху, основание одной из тех огромных колонн, которые так поразили меня, — неужели это были летающие колонны? — люди спешили туда со всех сторон, и внезапно я столкнулся с кем-то на бегу. Я даже не покачнулся, лишь остановился как вкопанный, но тот, приземистый толстяк в оранжевом костюме, упал, и с ним произошло нечто невероятное: его костюм завял на глазах, съежился, как проколотый воздушный шарик. Я стоял над ним, совершенно ошеломленный, не в силах даже пробормотать извинения. Он поднялся, посмотрел на меня исподлобья, но ничего не сказал, отвернулся и отошел широким шагом, манипулируя руками перед грудью, — костюм его снова как бы наполнился и стал красивым.

На том месте, которое указывала девушка, уже никого не было. После этого приключения

я махнул рукой на поиски всех этих растов, дуков, стыков, Внешнего Круга и решил выбраться из порта. Приобретенный опыт не располагал к разговорам с прохожими, поэтому я поехал наугад — вверх, вслед за голубой, наискось проведенной стрелой, без особых волнений пронизав собственным телом одну за другой две пламенеющие в воздухе надписи: ВНУТРЕННИЕ ЛИНИИ. Я попал на эскалатор, довольно многолюдный. Следующий этаж был выдержан в приглушенных бронзовых тонах с прожилками в виде золотых восклицательных знаков. Плавные переходы потолков и вогнутых стен. Коридоры, лишенные сводов, словно тонущие наверху в светящемся пухе. Стало казаться, что близко жилые помещения, все окружающее чем-то напоминало систему гигантских залов какой-нибудь гостиницы: оконца, никелированные трубы вдоль стен, ниши, где сидели какие-то чиновники, — не то обменные пункты, не то почта, не знаю, я шел дальше. Теперь я был почти уверен, что эта дорога не выведет меня к выходу и что, судя по длительности подъема, я нахожусь уже в надземной части порта. Несмотря на это, я продолжал идти в том же направлении. Неожиданное безлюдье, малиновые плиты с искрящимися звездочками, шеренги

дверей. Ближайшая дверь была приоткрыта. Я заглянул. Одновременно со мной с противоположной стороны заглянул какой-то огромный плечистый человек — я сам в зеркале во всю стену. Я распахнул дверь. Фарфор, серебристые трубки, никелировка. Туалет.

Хотелось смеяться, но в общем я чувствовал себя довольно глупо. Я быстро повернул обратно — другой коридор, молочно-белые дорожки, плывущие вниз. Поручни эскалатора мягкие, теплые, я не считал уходящие этажи, людей становилось все больше, они останавливались возле покрытых эмалью ящиков, выраставших из стен на каждом шагу, — прикосновение пальца, что-то падало в руку, они прятали это в карман и шли дальше. Не знаю зачем — я сделал точно то же, что шедший впереди человек в просторном фиолетовом одеянии: нажал кончиком пальца на едва заметную вогнутость клавиша, прямо в подставленную руку упала цветная, теплая полупрозрачная трубка. Я потряс ее, поднес к глазам — какие-то пилюли? Нет. Пробка? Нет, никакой пробки не было. Зачем это? Что с этим делали другие? Просто прятали в карман. На автомате надпись: ЛАРГАН. Я стоял, меня толкали. Внезапно я показался сам себе обезьяной,

которой протянули авторучку или зажигалку; на мгновение мною овладело слепое бешенство; я сжал зубы, сощурил глаза и, чуть сгорбившись, включился в текущий мимо поток. Коридор расширялся, это уже был зал. Огненные буквы: РЕАЛ АММО РЕАЛ АММО.

Сквозь суетящуюся толпу, поверх голов, я увидел издали окно. Первое окно. Огромное, панорамное.

Словно вся глубина ночи раскинулась на одной плоскости. Из светящегося тумана по самый горизонт — разноцветные галактики площадей, скопления спиральных огней, дрожащее зарево над небоскребами; на улицах копошение, извилистое ползание светящихся бусинок, и над всем по вертикалям — хаотическая пляска неонов, огненные плюмажи и молнии, кольца, самолеты и бутыли, багровые одуванчики сигнальных огней на причальных мачтах, вспыхивающие на миг солнца и выпрыгивающие с механической стремительностью огненные жилы реклам.

Я застыл и смотрел, слыша за собой мерное шарканье сотен ног. Внезапно город исчез и появилось огромное трехметровое лицо.

— Мы передавали монтаж хроники семидесятых годов из цикла «Виды старых столиц».

Сейчас Траппстель начинает передачу из школы космолитов…

Я почти бежал. Это было не окно, а какой-то огромный телевизор. Я ускорял шаги. Немного вспотел. Вниз! Скорее вниз! Золотые квадраты света. Внутри — толпы людей, пена в стаканах, почти черная жидкость, нет, нет, не пиво, поблескивает ядовито-зеленым, и молодежь, парни и девушки, в обнимку, вшестером, по восемь сразу, перегораживая коридор, шли на меня, им приходилось разнимать руки, чтобы меня пропустить. Меня тряхнуло. Оказывается, сам того не заметив, я вступил на движущуюся дорожку. Совсем близко мелькнули удивленные глаза — красивая темноволосая девушка в чем-то блестевшем, как фосфоресцирующий металл. Ткань облегала ее, она казалась нагой. Лица — белые, желтые, несколько высоченных черных парней, но я был по-прежнему выше всех. Передо мной расступались. Вверху, за выпуклыми стеклами, мелькали неясные тени, играли невидимые оркестры, а здесь продолжался этот странный променад. В темных коридорах — безликие фигуры женщин, светились только припорошенные блестками волосы да пух, прикрывавший их плечи, — только шеи белели в нем, как странные белые стебли.

Фосфоресцирующая пудра?..

Узкий проход вел в галерею каких-то гротескных — подвижных, даже вертлявых — статуй; коридор широкий, как улица, с приподнятыми краями, гудел от смеха. Что их так веселило? Эти статуи?

Огромные фигуры в лучах прожекторов источали густое, как сироп, медовое, рубиновое, насыщенное цветом сияние. Я шел, сощурив глаза. Крутой зеленый коридор, павильончики, пагоды с переброшенными к ним мостиками, полным-полно ресторанчиков, острый, назойливый запах жареного, бренчание стекла, повторяющиеся металлические звуки. Толпа, втянувшая меня сюда, смешалась с другой толпой, потом стало просторней, все садились в открытый настежь вагон, нет, он просто был прозрачный, словно отлитый из стекла, даже сиденья стеклянные и все-таки мягкие. Незаметно для себя я очутился внутри него; мы уже мчались. Вагон летел, люди перекрикивали громкоговоритель, повторявший: «Меридионал, Меридионал, стыки на Спиро, Атэйл, Блэкк, Фросом». Весь вагон словно таял, пронизанный светом; за стенами проносились огненные цветные полосы, параболические арки, белые перроны. «Фортеран,

Фортеран, стыки Гале, стыки внешних растов, Макра», — бормотал микрофон. Вагон останавливался и мчался дальше. Удивительное дело: ни торможение, ни ускорение не ощущались, словно инерция была уничтожена. Как же так? Я проверил это на трех очередных остановках, чуть подгибая ноги в коленях. На поворотах тоже ничего. Люди выходили, входили, на передней площадке появилась женщина с собакой — в жизни такого пса не видел. Он был огромный, с шарообразной головой, очень некрасивый, в его светло-карих спокойных глазах отражались уносящиеся назад микроскопические гирлянды огней. РАМБРЕНТ, РАМБРЕНТ. Замелькали синеватые и белесые светящиеся трубки, лестницы, отливающие кристаллическим блеском, черные фонтаны, постепенно блеск застывал, каменея, вагон остановился. Я вышел и растерялся. Над амфитеатром перрона вздымалось многоэтажное знакомое сооружение — все тот же космопорт, другое место того же самого гигантского зала, разделенного крыльями белых плоскостей. Я подошел к краю геометрически правильной чаши перрона — вагон уже отошел — и испытал очередное потрясение: я находился не внизу, как полагал, а, наоборот, очень высоко, этажах

в сорока над проносившимися в бездне лентами дорожек, над серебряными палубами мерно двигающихся перронов. В их расщелины вползали продолговатые молчаливые громады, и шеренги люков выбрасывали наружу людей, как будто эти чудовища, эти хромированные рыбины откладывали на перрон на равных расстояниях кучки золотой и черной икры. И над всем этим, далеко, как сквозь дымку, я различал ползущие по невидимой строчке сверкающие буквы:

ГЛЕНИАНА
РУН, ВОЗВРАЩАЮЩАЯСЯ СЕГОДНЯ СО СЪЕМОЗАПИСИ
МИМОРФИЧЕСКОГО РЕАЛА, ВОЗДАСТ В ОРАТОРИИ ЧЕСТЬ ПАМЯТИ РАППЕРА КЕРКСА ПОЛИТРЫ. ГАЗЕТА «ТЕРМИНАЛ» СООБЩАЕТ. СЕГОДНЯ В АММОНЛИ ПЕТИФАРГ ДОБИЛСЯ СИСТОЛИЗАЦИИ ПЕРВОГО ЭНЗОМА. ГОЛОС ЗНАМЕНИТОГО ГРАВИСТА МЫ БУДЕМ ПЕРЕДАВАТЬ В ДВАДЦАТЬ СЕМЬ ЧАСОВ. РЕКОРД АРРАКЕРА. АРРАКЕР ПОДТВЕРДИЛ СВОЕ ЗВАНИЕ ПЕРВОГО ОБЛИТИСТА СЕЗОНА НА ТРАНСВААЛЬСКОМ СТАДИОНЕ.

Я отошел. Значит, даже счет времени изменил-

ся. Огромные буквы, как шеренги пылающих канатоходцев, плыли над морем голов, в их свете женские одежды внезапно вспыхивали холодным металлическим блеском. Я шел, ничего не замечая, а во мне все звучали слова: «Значит, даже счет времени изменился». Это добило меня. Хотелось только одного: выйти отсюда, выбраться из этого дьявольского космопорта, очутиться под открытым небом, на воле, увидеть звезды, ощутить ветер.

Меня привлекла аллея продолговатых огней; замкнутый в прозрачном алебастре потолка острый язычок пламени выписывал какие-то слова: ТЕЛЕТРАНС ТЕЛЕПОРТ ТЕЛЕТОН; стрельчатая арка входа — неимоверная, лишенная опор арка, словно перевернутый нос ракеты, — вела в зал, крытый окаменевшим золотым пламенем. В нишах стен — сотни кабинок, люди вбегали в них, поспешно выбегали, швыряли на пол обрывки лент, нет, не телеграфных, каких-то иных, с выдавленными на них бугорками, другие ступали по этим обрывкам. Я попробовал выйти, по ошибке забрел в темную нишу, не успел отступить, что-то забренчало, вспышка, будто фотолампа, и из щели, окаймленной металлом, как из почтового ящика, выпал сложенный вдвое

листок блестящей бумаги. Я взял его, развернул, из него выскочила человеческая голова с полураскрытыми, слегка искривленными тонкими губами, уставилась на меня, сощурив глаза: это был я сам. Я снова сложил листок, и объемное видение исчезло. Я осторожно начал раскрывать его — ничего; шире — изображение появилось опять, как будто выпрыгнуло из ниоткуда, — без тела, висящая над листком голова с глуповатым выражением лица. Я всматривался в нее — что это такое, объемная фотография? Потом сунул листок в карман и вышел.

Золотой ад, огненная лава потолка, иллюзорная, но пышущая настоящим пожаром, казалось, низвергалась на головы толпы, но никто не смотрел вверх, все хлопотливо бежали из одних кабинок в другие, в глубине прыгали зеленые буквы, колонки цифр сползали по узким экранам; еще кабины, вместо дверей жалюзи, стремительно свертывающиеся при чьем-либо приближении, — наконец-то я нашел выход.

Изогнутый коридор; наклонный, как в театре, пол, на стенах — стилизованные букеты раковин, вверху стремительно проносились слова: ИНФОР ИНФОР ИНФОР, бесконечно.

Впервые я увидел ИНФОР на Луне и принял его

за искусственный цветок.

Я приблизил лицо к салатовой чаше, она мгновенно, еще ничего от меня не услышав, застыла в ожидании.

— Как мне выйти? — не очень-то вразумительно спросил я.

— Куда? — тотчас откликнулся теплый альт.

— В город.

— В какой район?

— Безразлично.

— На какой уровень?

— Все равно, я хочу выйти из порта!

— Меридионал, расты: сто шесть, сто семнадцать, ноль восемь, ноль два. Тридукт, уровень АФ, АЖ, АЦ, уровень окружных мигов, двенадцать и шестнадцать, уровень надир в любом южном направлении. Центральный уровень — глидеры, красный — местный, белый — дальний А, Б и В. Уровень ульдеров прямого сообщения, все шкалы с третьей и выше… — мелодично перечислял женский голос.

Мне хотелось вырвать из стены этот микрофон, так заботливо склонившийся ко мне. Я отошел. «Идиот! Идиот!» — отзывался во мне каждый шаг. ЭКС ЭКС ЭКС ЭКС, твердила проползавшая вверху, обрамленная лимонно-желтым туманом

надпись. Может быть, «Эксит»? «Выход»?

Огромная надпись: ЭКСОТАЛ. Стремительно налетел поток теплого воздуха, даже штанины захлопали. Я оказался под открытым небом. Но мрак ночи сразу же отпрянул, оттесненный бесчисленными огнями. Огромный ресторан — столики, сверкавшие всеми цветами радуги; над ними — освещенные снизу, чуть жутковато, лица в глубоких тенях. Низкие кресла, черная жидкость с зеленой пеной, лампионы, сыплющие мелкие искры, нет, вроде светлячков — волны пылающей мошкары.

Хаос огней затмевал звезды. Подняв голову, я увидел лишь черную пустоту над собой. И все-таки удивительно, в эту минуту ее слепое присутствие приободрило меня. Я остановился, почувствовав запах духов, резкий и в то же время нежный. Мимо скользнула пара. Плечи и грудь девушки тонули в пушистом облаке, она укрылась в объятиях мужчины: они танцевали. «Еще танцуют, — подумал я. — И то хорошо». Пара сделала лишь несколько шагов, тусклый, отливающий ртутью круг поднял танцующих, темно-красные их тени мерно шевелились под его огромной, медленно вращавшейся плитой, она была без опор, даже без оси, просто кружи-

лась в воздухе под звуки музыки. Я побрел среди столиков. Мягкий пластик под ногами оборвался, упираясь в шершавую скалу. Сквозь световой занавес я вошел внутрь и оказался в скалистом гроте. Словно множество готических нефов, сооруженных из сталактитов, жилистые натеки сверкающих камней охватывали выходы из пещеры. Там, свесив ноги с обрыва, сидели люди. Возле их колен покачивались слабые огоньки. Внизу простиралось невозмутимое черное зеркало озера, отражая нагромождения скал. На сколоченных кое-как плотиках тоже сидели люди, все лица были обращены в одну сторону. Я спустился к самой воде и увидел на песке, по ту сторону, танцовщицу. Она казалась нагой, но белизна ее тела была неестественной. Мелкими неуверенными шажками она подошла к воде, отразилась в ней, внезапно развела руки, поклонилась — это был конец, но никто не аплодировал, она стояла мгновение неподвижно, потом медленно пошла вдоль воды по неровной линии берега. Она была шагах в тридцати от меня, как вдруг с ней что-то произошло. Мгновение назад я еще видел ее усталое, улыбающееся лицо, и вдруг как будто что-то заслонило ее, силуэт задрожал и исчез.

— Не угодно ли плаву? — раздался сзади предупредительный голос.

Я обернулся — никого, только круглый столик, смешно перебиравший согнутыми ножками; он переминался, бокалы с шипучкой, стоявшие на боковых подносиках, дрожали — одна лапка услужливо подсовывала мне бокал, другая уже тянулась за тарелкой, похожей на маленькую, вогнутую палитру с дырочкой для пальца сбоку. Автоматический столик, за стеклом центрального оконца я видел тлеющий огонек его транзисторного сердца.

Я увернулся от этих услужливо протянутых ко мне членистых ручек, от лакомств и быстро вышел из искусственного грота, стиснув зубы, словно мне нанесли непонятное оскорбление. Прошел через всю террасу мимо причудливо расставленных столиков, сквозь аллеи лампионов, обсыпаемый невесомой пылью распадающихся, догорающих в воздухе черных и золотых светлячков. У самого края, выложенного замшелыми камнями, я почувствовал наконец настоящий, холодный, чистый ветер. Рядом стоял свободный столик. Я уселся за него, не очень удобно, спиной к людям, глядя в ночь. Внизу, неожиданная и бесформенная, простиралась темнота, и только

далеко, очень далеко, на самом горизонте тлели слабые, зыбкие огоньки, какие-то неуверенные, словно это и не электричество было, а еще дальше в небо вонзались холодные тонкие шпаги света, не знаю, то ли дома, то ли какие-то колонны, их можно было принять за лучи прожекторов, если б они не были подернуты мелкой сеткой — так выглядел бы вбитый основанием в землю и уходящий в облака стеклянный цилиндр, слой за слоем заполненный выпуклыми и вогнутыми линзами. По-видимому, они были невероятной высоты, вокруг них роились какие-то огоньки, то вспыхивая, то угасая, так что по временам их охватывал слабый оранжевый, а иногда почти белый ореол. И это все, и это был город; я пытался отыскать улицы, угадать их, но мрачная и, казалось, мертвая пустыня внизу простиралась во все стороны, не освещенная ни единым проблеском света.

— Коль? — услышал я слово, произнесенное, видно, уже не в первый раз, но лишь теперь понял, что обращались ко мне.

Кресло повернулось раньше, чем я. Передо мной стояла девушка лет двадцати, в голубом, плотно облегавшем ее наряде, плечи и грудь тонули в темно-синем меху, который книзу ста-

новился все прозрачнее; красивое, гибкое тело напоминало статуэтку из дышащей бронзы. Что-то светящееся, большое закрывало мочки ушей; маленький, растерянно улыбающийся рот, крашеные губы, ноздри тоже красные изнутри — я уже успел заметить, что именно так красится большинство женщин. Схватившись обеими руками за спинку стоявшего напротив кресла, она воскликнула:

— Что с тобой, коль?

Присела.

Мне показалось, что она немного пьяна.

— Здесь скучно, — заговорила она, помолчав. — Правда? Давай махнем куда-нибудь, коль?

— Я не коль… — начал было я.

Поставив локти на столик, она бесцельно проводила рукой над налитым до половины бокалом, так что кончик золотой цепочки, навернутой на ее пальцы, погрузился в жидкость. Она качалась и наклонялась все ниже. Я почувствовал ее дыхание. Если она и была пьяна, то вряд ли от вина.

— Как же так? — сказала она. — Ты коль. Должен быть. Каждый ведь коль. Махнем, а?

Хоть бы знать, что это означает?

— Хорошо, — ответил я.

Она встала. Встал и я с этого чертовски низень-

кого кресла.

— Как это у тебя получается? — спросила она.

— Что?

Она посмотрела на мои ноги.

— Я думала, ты стоишь на цыпочках…

Я молча усмехнулся. Она подошла ко мне, взяла под руку и снова удивилась:

— Что у тебя там такое?

— Где? Здесь? Ничего.

— Поёшь, — сказала она и чуть подтолкнула меня.

Мы пошли между столиками, а я размышлял, что бы это значило, «поёшь», — может, «сочиняешь»?

Она подвела меня к темно-золотой стене, где светился знак, отдаленно напоминавший скрипичный ключ. Стена раздвинулась, когда мы подошли. Я ощутил дуновение горячего воздуха.

Узкий серебряный эскалатор уходил вниз. Мы стояли рядом. Она не доставала мне до плеча. Круглая кошачья головка, черные, с голубым отливом волосы, профиль, быть может, несколько резкий, но красивый. Вот только эти пурпурные ноздри… Она крепко держала меня тоненькой рукой, зеленые ногти глубоко впились в плотную материю свитера. Я невольно усмехнулся, самым

краешком рта, припомнив, где побывал этот свитер и как мало общего он имел до сих пор с женскими ногтями. Пройдя под крутым сводом, который, словно дыша, переливался из розового в карминовый, из карминового в розовый цвет, мы вышли на улицу. Точнее, я подумал, что это улица, но темнота над нами действительно таяла с каждым шагом, словно близился стремительный рассвет. Поодаль проплывали продолговатые низкие силуэты, как будто автомобили, но я уже знал, что автомобилей нет. Это, по-видимому, было что-то другое. Будь я один, я отправился бы по этой широкой магистрали, потому что вдали светилась надпись: В ЦЕНТР; только, наверно, это совсем не означало центра города. Впрочем, я все равно разрешил себя вести. Чем бы ни кончилось это приключение, я нашел провожатого, и мне вспомнился — теперь уже беззлобно — тот горемыка из Адапта, который сейчас, спустя три часа после моего прилета, должно быть, мечется в поисках по этому городу-порту от одного Инфора к другому.

Мы миновали несколько почти опустевших ресторанов, прошли мимо витрин, в которых группа манекенов непрерывно повторяла одну и ту же сцену, и я охотно остановился бы погля-

деть на них, но девушка шла быстро, постукивая каблучками, и вдруг воскликнула, увидев неоновое лицо с пульсирующим румянцем, которое все время облизывалось комично высунутым языком.

— О, бонсы! Хочешь бонс?

— А ты? — спросил я.

— Кажется, да.

Мы вошли в маленький сверкающий зал. Вместо потолка там тянулись длинные ряды огненных язычков, вроде газовых, сверху хлынул теплый воздух, — наверное, это и вправду был газ. В стенах виднелись небольшие ниши с пюпитрами; когда мы подошли к одной из них, по обеим сторонам выдвинулись сиденья, будто выросли из стены, сначала неразвернутые, как бутоны, они распластались в воздухе и, прогнувшись, застыли. Мы уселись друг против друга, девушка ударила двумя пальцами по металлической крышке столика, из стены выпрыгнула никелированная лапка, бросила перед каждым из нас маленькую тарелочку и двумя молниеносными движениями наполнила обе тарелочки белесоватой массой, которая тут же начала бронзоветь, вспенилась и застыла; одновременно потемнели и сами тарелочки. Девушка свернула

свою тарелочку, как блинчик, и принялась есть.

— О, — проговорила она набитым ртом, — я и не подозревала, что так проголодалась.

Я последовал ее примеру. Бонс не походил по вкусу ни на что знакомое. Он хрустел на зубах, как свежевыпеченная булка, но тут же рассыпался и таял во рту; коричневая масса, завернутая в него, была приправлена острыми специями.

— Еще? — спросил я, когда она справилась со своим бонсом.

Она улыбнулась, покачав головой. Проходя к выходу, она сунула по дороге обе руки в маленькую нишу, выложенную кафелем, — внутри что-то шумело. Я сделал то же самое. Щекочущий ветерок скользнул по пальцам; руки стали чистыми и сухими.

Теперь мы отправились по широкому эскалатору наверх. Я не знал, вышли ли мы из порта, но предпочитал не спрашивать. Она провела меня в небольшую кабину — здесь было темновато, казалось, что над нами проносятся какие-то поезда, так дрожал пол. На мгновение стало совершенно темно, глубоко под нами что-то тяжело вздохнуло, словно металлическое чудовище с шумом выпустило воздух из легких, посветлело, девушка толкнула дверь.

Это, пожалуй, была настоящая улица. Мы были на ней совершенно одни. Невысокие подстриженные кусты росли по обеим сторонам тротуара, немного дальше сгрудились плоские черные машины, какой-то человек вышел из темноты, скрылся за одной из них — не видно было, как он открывал дверцу, он попросту исчез, а машина рванула с места на такой скорости, что его должно было бы расплющить на сиденье; не видно было домов, одна только гладкая как стол проезжая часть, покрытая полосами матового металла; на перекрестках, паря над мостовой, двигались лезвия оранжевого и красного света, похожие на свет военных прожекторов.

— Куда пойдем? — спросила девушка. Она все еще держала меня под руку. Замедлила шаги. Полоса красного света скользнула по ее лицу.

— Куда хочешь.

— Тогда идем ко мне. Не стоит брать глидер. Это близко.

Мы двинулись прямо. Домов по-прежнему не было видно, а ветер, летящий из темноты, из-за кустов, был такой, словно там расстилалось открытое поле. Возле космопорта, в самом центре? Странно. Ветер нес слабый запах цветов, я жадно вдыхал его. Черемуха? Нет, не черемуха.

Потом мы оказались на движущейся дорожке; встали рядом — странная пара. Проплывали огни, иногда проскальзывали машины, словно отлитые из цельного куска черного металла, у них не было ни окон, ни колес, ни даже огней, и мчались они словно вслепую, с необычайной скоростью. Те движущиеся лезвия света били из узких вертикальных щелей, расположенных низко над землей. Я никак не мог разобраться, имеют ли они что-нибудь общее с уличным движением и его регулировкой.

Время от времени высоко над нами, в невидимом небе, нарастал и затихал тоскливый свист. Девушка внезапно сошла с плывущей полосы только затем, чтобы перейти на другую, которая помчалась круто вверх. Я вдруг взлетел куда-то высоко, воздушная поездка длилась с полминуты и закончилась на площадке, полной слабо пахнущих цветов, — мы будто по приставленному к стене конвейеру поднялись на террасу или балкон погруженного в темноту дома. Девушка вошла в глубину этой лоджии, а я, уже свыкшись с темнотой, улавливал в ней огромные силуэты соседних домов, лишенных окон, темных, словно вымерших, потому что не хватало не только света — не было слышно ни малейшего звука, кроме

резкого шипения, с которым проносились по улице эти черные машины; после неоновой оргии космопорта меня поражало это, по-видимому, нарочитое затемнение и отсутствие неоновых реклам, но размышлять было некогда. «Где ты там? Иди!» — донесся до меня шепот. Я видел лишь бледное пятно ее лица. Она поднесла руку к двери, дверь открылась, но это была не комната, пол плавно поплыл вместе с нами. «Тут и шагу самому ступить нельзя, — подумал я. — Странно, что у них еще сохранились ноги», — но это была жалкая ирония, ее порождало мое непрекращающееся ошеломление, ощущение нереальности всего, что происходило со мной вот уже несколько часов.

Мы оказались не то в большом зале, не то в коридоре, широком, почти темном, — слабо светились только углы стен, покрытые полосами люминесцирующей краски. В самом темном углу девушка снова прикоснулась распластанной ладонью к металлической плитке в двери и вошла первой. Я зажмурился; почти пустая комната была ярко освещена — девушка шла к следующей двери; когда я подошел к стене, она внезапно раздвинулась, обнажая полки, заставленные множеством каких-то металлических бутылочек.

Это произошло так неожиданно, что я невольно застыл на месте.

— Не пугай мой шкаф, — сказала девушка из соседней комнаты.

Я вошел вслед за ней.

Мебель казалась отлитой из стекла: креслица, низенький диванчик, маленькие столики — в их полупрозрачном материале медленно кружились рои светлячков, временами рассыпаясь, потом вновь сливаясь в ручейки, которые циркулировали внутри ножек, спинок, сидений, как бледно-зеленая, пронизанная розовыми отблесками лучистая кровь.

— Ну что же ты?

Она стояла в глубине комнаты. Кресло раскрылось, чтобы услужить мне. Я не выносил этого. Эта стекловидная масса не была стеклом — казалось, что садишься на надутую подушку, а посмотрев вниз, можно было неясно увидеть пол сквозь вогнутый толстый лист сиденья.

Когда я вошел, мне показалось, что стена напротив двери стеклянная и я вижу сквозь нее следующую комнату, заполненную людьми, словно там шел какой-то прием, но люди эти были неестественно высокими — и вдруг я понял, что передо мной телевизионный экран во всю

стену. Звук был выключен; теперь, сидя, я видел огромное женское лицо, как будто гигантская негритянка заглядывала в комнату через окно; губы ее шевелились, она что-то говорила, а серьги величиной с тарелку дрожали бриллиантовым блеском.

Я устроился поудобнее в кресле. Девушка, опуская руку вдоль бедра — живот ее и в самом деле казался отлитым из голубого металла, — внимательно смотрела на меня. Она уже не казалась пьяной. Может быть, и раньше мне просто померещилось.

— Как тебя зовут? — спросила она.

— Брегг. Эл Брегг. А тебя?

— Наис. Сколько тебе лет?

«Интересные обычаи, — подумал я. — Ну что ж, видимо, так принято».

— Сорок, а что?

— Нет, ничего. Я думала, сто.

Я улыбнулся:

— Пусть будет сто, если ты так хочешь.

«Самое смешное, что это правда», — подумал я.

— Что выпьешь?

— Спасибо, ничего.

— Как хочешь.

Она подошла к стене, и там открылось нечто

вроде небольшого бара. Она заслонила собой полки. Потом обернулась, неся поднос с бокалами и двумя бутылками. Чуть нажав бутылку, она налила мой бокал до краев — жидкость выглядела совершенно как молоко.

— Спасибо, — сказал я, — я ничего не хочу.

— Но ведь я тебе ничего и не даю?! — удивилась она.

Увидев, что я снова сделал ошибку, хоть и не понимая, какую именно, я пробурчал что-то себе под нос и взял бокал. Она налила из другой бутылки себе. Жидкость была маслянистая, бесцветная, она слегка пенилась и быстро темнела, будто от соприкосновения с воздухом. Наис села и, касаясь губами края бокала, равнодушно спросила:

— Кто ты?

— Коль, — ответил я. Поднял бокал, чтобы присмотреться к нему, — это молоко было совершенно без запаха. Я не стал к нему притрагиваться.

— Нет, серьезно, — сказала она. — Ты думал, я втемную, да? Ничего подобного. Это просто кальс. Была с шестеркой, понимаешь, только вдруг дно стало отвратительным. Особенно-то стараться было не к чему и вообще… я уж собиралась выйти, когда ты подсел.

Кое-что я все-таки улавливал: видимо, я случай-

но сел за ее столик, пока ее не было; может быть, она танцевала? Я дипломатично промолчал.

— Ты издали выглядел так… — Она не могла найти нужного слова.

— Солидно? — подсказал я.

Ее веки дрогнули. Неужели и на них металлическая пленка? Нет, это, наверно, краска. Она подняла голову.

— А что это значит?

— Ну… э… внушающий доверие…

— Ты странно говоришь. Откуда ты?

— Издалека.

— Марс? Дальше.

— Летаешь?

— Летал.

— А теперь?

— Вернулся.

— Но будешь снова летать?

— Не знаю. Наверное, нет.

Разговор как-то угасал — казалось, она уже немного раскаивалась в своем легкомысленном приглашении, и мне хотелось облегчить ее положение.

— Может, я пойду? — спросил я, так и не прикоснувшись к напитку.

— Почему? — удивилась она.

— Мне казалось, что тебе… так будет приятнее.

— Нет, — сказала она, — ты думаешь… нет, отчего же… почему ты не пьешь?

— Я пью.

Это все же было молоко. В такую пору, при таких обстоятельствах! Я был изумлен, и она, наверное, заметила это.

— Что, не нравится?

— Это… молоко, — проговорил я. Наверно, вид у меня был совершенно идиотский.

— Да нет же! Какое молоко? Это брит…

Я вздохнул:

— Слушай, Наис… я, пожалуй, пойду. Правда. Так будет лучше.

— Так зачем же ты пил? — спросила она.

Я молча смотрел на нее. Язык не так уж изменился — только я все равно ничего не понимал. Ничего. Это они изменились.

— Как хочешь, — сказала она наконец. — Я тебя не держу. Но сейчас… — Она смутилась. Хлебнула свой лимонад — так я мысленно назвал этот пенистый напиток, — а я опять не знал, что сказать. Как это все было сложно!

— Расскажи о себе, — предложил я, — хочешь?

— Хорошо. А потом ты расскажешь?

— Да.

— Я в Кавуте второй год. Последнее время разленилась, не пластовала регулярно и… так как-то. Шестерка у меня неинтересная. По правде говоря, у меня… никого нет. Странно даже…

— Что?

— Что никого нет…

Снова сплошной мрак. О ком она говорила? Кого нет? Родителей? Любовника? Знакомых? Абс был прав — без восьмимесячной подготовки в Адапте я тут ничего не пойму. Но сейчас мне тем более не хотелось пристыженным возвращаться за парту.

— Ну а дальше? — спросил я и, вспомнив, что держу в руке бокал, снова отпил из него. Ее глаза расширились от изумления. Что-то вроде насмешливой улыбки скользнуло по губам. Она допила свой бокал до дна, протянула руку к пуху, покрывавшему плечи, и разорвала его — не отстегнула, не сняла, а просто разорвала и выпустила обрывки из пальцев, как ненужный мусор.

— В конце концов, мы мало знакомы, — сказала она.

Теперь она, казалось, чувствовала себя свободнее. Улыбалась. Временами она становилась красивой, особенно когда щурила глаза и нижняя губа, поднимаясь, обнажала сверкающие зубы.

В лице ее было что-то египетское. Египетская кошка. Очень черные волосы, а когда она сорвала с плеч и груди этот пушистый мех, я увидел, что она совсем не так худа, как мне показалось. Но зачем она это сделала… Это что-нибудь значило?

— Ты собирался рассказывать, — сказала она, глядя на меня поверх бокала.

— Да, — ответил я и почувствовал волнение, будто от моих слов бог весть что зависело. — Я пилот… был пилотом. Последний раз я был здесь… только не пугайся!

— Нет. Говори!

Ее глаза были внимательными и блестящими.

— Сто двадцать семь лет назад. Мне тогда было тридцать. Экспедиция… я был пилотом рейса на Фомальгаут. Это двадцать три световых года. Мы летели туда и обратно, сто двадцать семь лет по земному времени и десять — по бортовому. Мы вернулись четыре дня тому назад… «Прометей» — это мой корабль — остался на Луне. Я прилетел оттуда сегодня. Это все.

Она молча смотрела на меня. Ее губы шевельнулись, раскрылись, снова сжались. Что было в ее глазах? Изумление? Восхищение? Страх?

— Почему ты молчишь? — спросил я. Мне пришлось откашляться.

— Так… Сколько же тебе на самом деле лет?

Я заставил себя улыбнуться; улыбка получилась невеселой.

— Что значит — «на самом деле»? Биологических — сорок, а по земным часам — сто пятьдесят семь…

Долгое молчание, и вдруг:

— Там были женщины?

— Подожди, — сказал я. — У тебя найдется что-нибудь выпить?

— Что?

— Ну, что-нибудь покрепче, понимаешь. Одурманивающее. Алкоголь… или теперь его уже не пьют?

— Очень редко… — ответила она совсем тихо, словно думая о чем-то другом. Ее руки медленно опустились, коснулись металлической голубизны платья.

— Я тебе дам… Ангеен, хочешь? Ах, ты же не знаешь, что это такое?

— Да. Не знаю, — ответил я с неожиданным ожесточением.

Она подошла к полке и вернулась с маленькой пузатой бутылочкой. Налила. Там был алкоголь — немного — и еще что-то; странный, терпкий аромат.

— Не сердись, — сказал я, выпив бокал, и налил еще один.

— Я не сержусь. Ты не ответил. Может, не хочешь?

— Почему же? Могу ответить. Нас было всего двадцать три человека, на двух кораблях. Второй был «Одиссей». По пять пилотов, остальные — ученые. Не было никаких женщин.

— Почему?

— Из-за детей, — объяснил я. — Нельзя растить детей на таких кораблях, и даже если б можно было, никто бы этого не захотел. До тридцати лет не брали. Нужно окончить два факультета, плюс четыре года тренировки, всего двенадцать лет. Словом, у тридцатилетних женщин обычно уже есть дети. Ну… и другие причины.

— А ты? — спросила она.

— Я был один. Выбирали одиночек. То есть добровольцев.

— И ты хотел…

— Да. Разумеется.

— И ты не…

Она оборвала фразу. Я понял, что она хотела сказать. Я молчал.

— Это, должно быть, жутко… так вернуться, — сказала она почти шепотом. Содрогнулась. И

вдруг посмотрела на меня, щеки ее потемнели, это был румянец. — Слушай, то, что я сказала, просто шутка, правда.

— Что мне сто лет?

— Я просто так сказала, ну, чтобы что-нибудь сказать, это совсем не…

— Перестань, — пробормотал я. — Если ты еще станешь извиняться, я и вправду почувствую себя столетним.

Она замолчала. Я заставил себя не смотреть на нее. В глубине комнаты, в той второй, не существующей комнате за стеклом, огромная мужская голова беззвучно пела, я видел дрожащую от напряжения темно-багровую гортань, лоснящиеся щеки, все лицо подрагивало в неслышном ритме.

— Что ты будешь делать? — тихо спросила она.

— Не знаю. Еще не знаю.

— У тебя нет никаких планов?

— Нет. У меня есть немного — такое… ну, премия, понимаешь. За все это время. Когда мы стартовали, в банк положили на мое имя — я даже не знаю, сколько там. Ничего не знаю. Послушай, а что такое Кавут?

— Кавута? — поправила она. — Это… такие курсы, пластование, само по себе ничего особенного,

но иногда оттуда можно попасть в реал…

— Постой… так что же ты там, собственно, делаешь?

— Пласт, ну, разве ты не знаешь, что это такое?

— Нет.

— Как бы тебе… чтобы проще, ну, делаю платья, вообще одежду… все…

— Портниха?

— Что это такое?

— Ты шьешь что-нибудь?

— Не понимаю.

— О небеса, черные и голубые! Ты проектируешь модели платья?

— Ну… да, в определенном смысле, да. Не проектирую, а делаю…

Я оставил эту тему.

— А что такое реал?

Это ее по-настоящему удивило. Она впервые взглянула на меня как на существо из иного мира.

— Реал — это… реал, — беспомощно повторила она. — Это такие… истории, на них смотрят…

— Это? — Я показал на стеклянную стену.

— Ах нет, это визия…

— Так что же? Кино? Театр?

— Нет. Театр, я знаю, такое было — это было

давно. Я знаю: там были настоящие люди. Реал искусственный, но это нельзя отличить. Разве только если войдешь туда, к ним…

— Если войдешь…

Голова великана вращала глазами, качалась, смотрела на меня, будто он испытывал истинное наслаждение, созерцая эту сцену.

— Послушай, Наис, — сказал я вдруг, — или я пойду, потому что уже поздно, или…

— Предпочла бы второе «или».

— Ты же не знаешь, что я хочу сказать.

— Так скажи.

— Хорошо. Я хотел тебя еще спросить кое о чем. О самом основном, самом важном я уже немного знаю: я просидел в Адапте на Луне четыре дня. Но там все было чересчур торжественно. Что вы делаете, когда не работаете?

— Можно делать массу всяких вещей, — сказала она. — Можно путешествовать, по-настоящему или мутом. Можно развлекаться, ходить в реал, танцевать, играть в терео, заниматься спортом, плавать, летать — что угодно.

— Что такое мут?

— Это вроде реала, только до всего можно дотронуться. Там можно ходить по горам, всюду — сам увидишь, это невозможно рассказать. Но, мне

кажется, ты хотел спросить о чем-то другом…

— Тебе правильно кажется. Как сейчас… у мужчин с женщинами?

Ее веки затрепетали.

— Наверно, так, как всегда было. Что могло измениться?

— Все. В те времена, когда я улетел — только не обижайся, — девушка вроде тебя не пригласила бы меня к себе в такое время.

— В самом деле? Почему?

— Потому что это имело бы вполне определенный смысл.

Она помолчала.

— А почему ты думаешь, что это не имело такого смысла?

Мой вид развеселил ее. Я смотрел на нее; она перестала улыбаться.

— Наис… как же это, — пробормотал я, — ты приглашаешь совершенно незнакомого парня и…

Она молчала.

— Почему ты не отвечаешь?

— Потому что ты ничего не понимаешь. Я не знаю, как тебе объяснить. Понимаешь, это ничего не значит…

— Ах вот как. Это ничего не значит, — повто-

рил я.

Я не мог усидеть. Встал. Забывшись, почти подпрыгнул — она вздрогнула.

— Прости, — буркнул я и начал шагать по комнате. За стеклом простирался парк, залитый утренним солнцем; по аллее, среди деревьев с бледно-розовыми листьями, шли трое ребят в рубашках, сверкавших, как доспехи.

— Браки существуют?

— Ну конечно.

— Ничего не понимаю! Объясни мне это. Вот ты видишь мужчину, который тебе подходит, и, не зная его, сразу…

— Но что же тут рассказывать? — неохотно сказала она. — Неужели действительно в твое время, тогда, девушка не могла впустить в комнату никакого мужчину?

— Нет, могла, конечно, и даже с такой именно мыслью, но… не через пять минут после знакомства…

— А через сколько минут?

Я взглянул на нее. Она спросила вполне серьезно. Ну, конечно, откуда ей было знать; я пожал плечами.

— Дело не во времени, просто… просто она должна была сначала что-то… ну, увидеть в нем,

узнать его, полюбить. Сначала гуляли…

— Подожди, — перебила она. — Ты, кажется, ничего не понимаешь. Ведь я же дала тебе брит.

— Какой брит? Ах, это молоко? Ну так что?

— Как что? Разве… тогда не было брита?

Она улыбнулась, потом расхохоталась. Внезапно замолчала, посмотрела на меня и отчаянно покраснела.

— Так ты думал… ты думал, что я… нет!!

Я присел. Пальцы меня не слушались. Я вытащил из кармана папироску и закурил. Она широко открыла глаза:

— Что это такое?

— Папироса. А вы не курите?

— Первый раз в жизни вижу такое… и это папироса? Как ты можешь втягивать в себя дым? Нет, постой — то важнее. Брит вовсе не молоко. Я не знаю, что там, но чужому всегда дают брит.

— Мужчине?

— Да.

— Ну и что из этого?

— То, что он будет… он должен вести себя хорошо. Знаешь… Может, тебе какой-нибудь биолог объяснит это.

— К черту биологов. Так это значит, что мужчина, которому ты дала брит, ничего не может?

— Разумеется.

— А если он не захочет выпить?

— Как он может не захотеть?

Тут кончалось всякое взаимопонимание.

— Ты же не можешь его заставить, — терпеливо начал я.

— Сумасшедший мог бы отказаться, — медленно сказала она, — но я ни о чем таком не слыхала, никогда…

— Это такой обычай?

— Не знаю, что тебе сказать. Ты из-за обычая не ходишь раздетым?

— Ага. Ну, в некотором смысле да. Но на пляже можно раздеться.

— Догола? — спросила она с внезапным интересом.

— Нет. Купальный костюм… Но в наши времена были такие люди, они назывались нудисты…

— Знаю. Нет, то другое, я думала, что вы все…

— Нет. Значит, этот брит, это… как платье? Такое же обязательное?

— Да. Когда вдвоем.

— Ну а потом?

— Что потом?

— Во второй раз?

Идиотский это был разговор, и я себя отврати-

тельно чувствовал, но должен же я был наконец узнать!

— Потом? По-разному бывает. Некоторым… всегда дают брит…

— Пустая похлебка, — вырвалось у меня.

— Что это значит?

— Нет. Ничего. А если девушка идет к кому-нибудь, тогда что?

— Тогда он пьет у себя.

Она смотрела на меня почти с жалостью. Но я упорствовал:

— А если у него нет?

— Брита? Как же может не быть?

— Ну, кончился. Или… он ведь может солгать.

Она засмеялась.

— Но ведь это… неужели ты думаешь, что я все эти бутылки держу здесь, в комнате?

— Нет? А где же?

— Я даже не знаю, откуда они берутся. В твое время был водопровод?

— Был, — хмуро ответил я. Конечно, могло ведь и не быть; я мог прямо из пещеры влезть в ракету. На мгновение меня охватила ярость; потом я спохватился — в конце концов, это была не ее вина.

— Ну вот, ты разве знал, откуда берется вода, прежде чем…

— Я понял, можешь не продолжать. Ладно. Значит, это такое средство предосторожности? Очень странно.

— Мне это совсем не кажется странным. Что у тебя там белое, под свитером?

— Рубашка.

— Что это?

— Ты что, рубашки не видела? Ну, такое — белье в общем. Из нейлона.

Я засучил рукав свитера и показал.

— Интересно, — сказала она.

— Такой обычай, — беспомощно ответил я.

Действительно, мне ведь говорили в Адапте, чтобы я перестал одеваться, как сто лет назад; а я заупрямился. Однако я не мог не признать ее правоты — брит был для меня тем же, чем для нее рубашка. В конце концов, людей никто не заставлял носить рубашки, а все их носили. Видно, с бритом обстояло так же.

— Сколько времени действует брит? — спросил я.

Она слегка покраснела.

— Как тебе не терпится. Ничего еще не известно.

— Я не хотел сказать ничего плохого, — оправдывался я. — Мне только хотелось узнать…

почему ты так смотришь! Что с тобой? Наис!

Она медленно поднялась. Отступила за кресло.

— Сколько, ты сказал? Сто двадцать лет?

— Сто двадцать семь. Ну и что?

— А ты… был… бетризован?

— Что это значит?

— Не был?!

— Да я даже не знаю, что это значит. Наис… девочка, что с тобой?

— Нет… не был, — шептала она. — Если б был, ты бы, наверно, знал.

Я хотел подойти к ней. Она вскинула руки:

— Не подходи! Нет! Нет! Умоляю!

Она попятилась к стене.

— Ведь ты же сама говорила, что это брит… сажусь, сажусь. Ну, сижу, видишь, успокойся. Что это за история с этим бе… как это там?

— Не знаю подробно. Но… каждого бетризуют. При рождении.

— Что же это?

— Кажется, что-то вводят в кровь.

— Всем?

— Да. Потому что… брит… как раз не действует без этого. Не двигайся!

— Девочка, не будь смешной.

Я погасил папиросу.

— Я ведь все-таки не дикий зверь. Ты не сердись, но… мне кажется, что вы здесь все чуточку тронутые. Этот брит… это же все равно что сковать всем до единого руки, а вдруг да кто-нибудь окажется вором. В конце концов… можно ведь и доверять немного.

— Ты великолепен. — Она будто успокоилась немного, но продолжала стоять. — Почему же ты так возмущался раньше, что я привожу к себе незнакомых?

— Это совсем другое.

— Не вижу разницы. Ты наверняка не был бетризован?

— Не был.

— А может, теперь? Когда вернулся?

— Не знаю. Делали мне разные уколы. Какое это имеет значение?

— Имеет. Тебе делали? Это хорошо.

Она села.

— У меня есть к тебе просьба, — начал я как можно спокойней. — Ты должна мне это объяснить…

— Что?

— Твой страх. Ты боялась, что я на тебя наброшусь, да? Но ведь это же чушь.

— Нет. Если подумать, конечно, чушь, но все

это слишком, понимаешь? Такой шок. Я никогда не видела человека, которого не…

— Но ведь этого же нельзя распознать!

— Можно. Еще как можно!

— Как?

Она помолчала.

— Наис…

— Да я…

— Что?

— Боюсь…

— Сказать?

— Да.

— Но почему?

— Ты понял бы, если б я сказала. Видишь ли, ведь это не из-за брита. Брит — это только так… побочное… Дело совсем в другом…

Она побледнела. Губы ее дрожали. «Что за мир, — подумал я, — что за мир!»

— Не могу. Ужасно боюсь.

— Меня?!

— Да.

— Клянусь тебе, что…

— Нет, нет… я тебе верю, только… нет. Этого ты не можешь понять.

— Ты мне не скажешь?

Видно, было в моем голосе нечто такое, что она

переборола себя. Ее лицо стало суровым. Я видел по ее глазам, каких усилий ей это стоило.

— Это… для того… чтобы нельзя было… убивать.

— Не может быть! Человека?!

— Никого…

— И животных?

— Тоже. Никого…

Она сплетала и расплетала пальцы, не сводя с меня глаз, — будто этими словами спустила меня с невидимой цепи, будто вложила мне в руки нож, которым я могу ее пронзить.

— Наис, — сказал я совсем тихо. — Наис, не бойся. Правда… не надо меня бояться.

Она пыталась улыбнуться.

— Слушай…

— Что?

— Когда я тебе это сказала…

— Ну?

— Ты ничего не почувствовал?

— А что я должен был почувствовать?

— Представь, что ты делаешь то, что я тебе сказала…

— Что, я убиваю? Я должен это себе представить?

Она содрогнулась.

— Да…

— Ну и что?

— И ты ничего не чувствуешь?

— Ничего. Но ведь это же только мысль, я совсем не собираюсь…

— Но ты можешь? Да? Действительно, можешь? Нет, — шепнула она одними губами, словно самой себе, — ты не бетризован…

Только теперь до меня дошло значение этого, и я понял, что для нее это могло быть потрясением.

— Это великое дело, — пробормотал я. Немного погодя добавил: — Но может, лучше было бы, если б люди отвыкли от этого… без искусственных средств…

— Не знаю. Может быть, — ответила она. Глубоко вздохнула. — Теперь ты понимаешь, почему я испугалась?

— По правде говоря, не совсем. Так, немножко. Ну не думала же ты, что я тебя…

— Какой ты странный! Как будто ты совсем не… — Она запнулась.

— Не человек?

У нее затрепетали веки.

— Я не хотела тебя обидеть, только, понимаешь, если известно, что никто не может, — понима-

ешь, даже подумать не может никогда, и вдруг появляется такой, как ты, и уже сама возможность… то, что есть такой…

— Но ведь это невозможно, чтобы все были — как это? — а, бетризованы?

— Почему же? Все, уверяю тебя!

— Нет, это невозможно, — упорствовал я. — А люди опасных профессий? Ведь они должны…

— Опасных профессий нет.

— Что ты говоришь, Наис? А пилоты? А разные спасатели? А те, что борются с огнем, с водой…

— Таких нет, — сказала она.

Мне показалось, что я не расслышал.

— Что-о?

— Нет, — повторила она. — Это делают роботы.

Наступило молчание. Я подумал, что не легко мне будет переварить этот новый мир. И вдруг мне пришла в голову мысль, удивительная мысль: мне показалось, что эта процедура, уничтожающая в человеке убийцу, в сущности… калечит его.

— Наис, — сказал я, — уже очень поздно. Я, пожалуй, пойду.

— Куда?

— Не знаю. Ах да! В порту меня должен был ждать человек из Адапта. Я совсем забыл! Никак

не мог его отыскать, понимаешь. Ну, тогда… я поищу какую-нибудь гостиницу. Они еще существуют?

— Да. Ты откуда?

— Отсюда. Я родился здесь.

С этими словами вернулось ощущение нереальности всего происходящего, и я уже не мог понять, существовал ли вообще тот город, который теперь был только во мне, и этот, призрачный, с комнатами, в которые заглядывали головы великанов. На миг мне показалось, что я еще на корабле и все это только еще один, особенно отчетливый, кошмарный сон о возвращении.

— Брегг, — будто издалека донесся до меня ее голос. Я вздрогнул. Я совершенно забыл о ней.

— Да… слушаю.

— Останься!

— Что?

Она молчала.

— Ты хочешь, чтобы я остался?

Она молчала. Я подошел к ней, обнял ее холодные плечи, нагнувшись над креслом. Она безвольно встала. Голова ее откинулась, зубы заблестели, я не хотел ее, я хотел лишь сказать: «Ведь ты же боишься», — и чтобы она сказала, что нет. И больше ничего. Глаза ее были закрыты,

и вдруг белки сверкнули сквозь ресницы, я склонился над ее лицом, заглянул в остекленевшие глаза, словно хотел познать этот страх, разделить его. Она вырывалась, задыхаясь, но я не чувствовал этого, и лишь когда она начала стонать: «Нет! нет!» — я ослабил объятия. Она чуть не упала. Стала у стены, заслонив часть огромного одутловатого лица, которое там, за стеклом, непрерывно говорило что-то, неестественно шевеля громадными губами, мясистым языком.

— Наис… — сказал я тихо, опуская руки.

— Не подходи!

— Ты же сама сказала…

Ее взгляд был совершенно бессмысленным.

Я прошелся по комнате. Она водила за мной глазами, как будто я… как будто она стояла в клетке.

— Я пойду… — сказал я. Она не ответила. Я хотел было еще что-то добавить — слова извинения, благодарности, только бы не выходить просто так, — но не смог. Если б она боялась меня просто так, как женщина мужчину, незнакомого, пусть страшного, неизвестного, — это бы еще полбеды, но тут было совсем другое. Я взглянул на нее и почувствовал, что меня охватывает гнев. Схватить эти обнаженные белые плечи, встряхнуть…

Я повернулся и вышел; наружная дверь подда-

лась, когда я ее толкнул, большой коридор был почти не освещен. Я никак не мог найти выход на террасу, но натолкнулся на просвечивавшие блеклым, синеватым светом цилиндры — кабины лифтов. Тот, к которому я приблизился, уже поднялся навстречу, может быть, достаточно было того, что нога ступила на порог. Кабина спускалась медленно. Передо мной чередовались слои темноты и разрезы этажей — белые, с красноватой прослойкой внутри, как прослойки жира в мускулах, они поднимались вверх, я потерял им счет, кабина опускалась, все опускалось, это походило на путешествие на самое дно, как будто меня швырнуло в канал стерилизационной сети и этот гигантский, погруженный в сон и беспечность дом избавлялся от меня. Часть прозрачного цилиндра отошла в сторону, я шагнул вперед.

Руки в карманы, темнота, твердый, широкий шаг, я жадно вдыхал холодный воздух, чувствуя, как шевелятся ноздри, как четко работает сердце, разгоняя кровь. В щелях у самой земли трепетали огни, то и дело заслоняемые бесшумными машинами; ни одного прохожего. Среди черных силуэтов едва рдело зарево, я подумал, что это, может быть, гостиница, но это был всего лишь освещенный тротуар. Я ступил на него. Надо

мной проплывали бледные пролеты каких-то конструкций, где-то далеко над черными ребрами домов мерно семенили светящиеся буквы газетных новостей, внезапно тротуар выехал в освещенное помещение и тут окончился.

Широкие ступени текли вниз, серебрясь, как окаменевший водопад. Меня поражала пустота — выйдя от Наис, я не встретил еще ни одного человека. Эскалатор казался бесконечным. Внизу опять широкая освещенная улица, по обеим сторонам — дома; под деревом с голубыми листьями — а может быть, это было не настоящее дерево — я увидел парочку, приблизился к ним и отошел. Они целовались. Я пошел на приглушенные звуки музыки, какой-то ночной ресторан или бар, ничем не отделенный от улицы. Там сидело несколько человек. Я хотел войти и спросить гостиницу. И тут же всем телом натолкнулся на невидимую преграду. Это было совершенно прозрачное стекло. Вход был рядом. Внутри кто-то засмеялся, показывая на меня другим. Я вошел. У столика боком сидел мужчина с бокалом в руке, в черном трико, немного походившем на мой свитер, но воротник весь в буфах, как будто вспененный, и смотрел на меня. Я остановился перед ним. Смех замер на его полуоткрытых губах. Я

стоял. Стало тихо. Только музыка продолжала играть, словно за стеной. Какая-то женщина издала странный, слабый звук, я провел взглядом по замершим лицам и вышел. Только на улице спохватился, что собирался спросить гостиницу.

Я вошел в пассаж. Полно витрин. Бюро путешествий, спортивные магазины, манекены в разнообразных позах. Собственно говоря, это были даже не витрины, потому что все это стояло и лежало прямо на улице, по обеим сторонам приподнятой дорожки, бежавшей посредине. Несколько раз я принял шевелившиеся в глубине силуэты за людей. Это были рекламные куклы, повторявшие без конца одно и то же действие. Одна кукла, величиной с меня, карикатурно надув щеки, играла на флейте — я засмотрелся на нее. Она так здорово это делала, что мне захотелось заговорить с ней. Потом пошли залы каких-то игр, там вращались большие радужные колеса; ударяясь, как колокольчики на санках, звенели подвешенные во множестве под потолком серебряные трубки; перемигивались призматические зеркала, но внутри было пусто. В самом конце пассажа в темноте сверкнула надпись: ЗДЕСЬ ХАХАХА. Исчезла. Я направился к ней. Снова зажглось: ЗДЕСЬ ХАХАХА, и исчезло, словно его

задули. При следующей вспышке я успел разглядеть вход. Послышались голоса. Я вошел сквозь заслон теплого воздуха.

В глубине стояли два бесколесных авто, горело несколько ламп, трое мужчин быстро жестикулировали, как будто спорили друг с другом. Я подошел к ним:

— Хэлло!

Они даже не оглянулись и продолжали быстро говорить. Я ничего не понимал. «Тогда сапай, тогда сапай», — пискляво повторял самый маленький, с брюшком. На голове у него была высокая шапка.

— Послушайте, я ищу гостиницу. Где здесь…

Они не обращали на меня внимания, как будто меня не было. Меня охватила злость. Уже совершенно молча я вошел в их круг. Ближайший ко мне — я видел его глуповато поблескивающие белки и прыгающие губы — зашепелявил:

— Што я должен шапать? Ты шам шапай!

Как будто он обращался ко мне.

— Что вы строите из себя глухих? — спросил я и внезапно с того места, где я стоял — точно из меня, из моей груди, — вырвался пискливый крик:

— Вот я тебе! Вот я тебе сейчас!

Я отскочил, и тогда появился обладатель голоса,

этот толстяк в шапке, — я хотел схватить его за плечи, пальцы прошли насквозь и сомкнулись в воздухе. Я застыл, словно оглушенный, а они продолжали болтать; вдруг мне показалось, что из темноты над автомобилями, сверху, кто-то смотрит на меня, я подошел к границе светлого круга и увидел бледные пятна лиц; там, наверху, было что-то вроде балкона. Ослепленный светом, я не мог рассмотреть его как следует, но и этого было достаточно, чтобы понять, каким ужасным шутом я выглядел. Я выбежал, будто за мной гнались.

Следующая улица шла вниз и кончалась у эскалатора. Я подумал, что там, может быть, найду какой-нибудь Инфор, и отправился по тускло-золотой лестнице. Лестница кончалась небольшой круглой площадью. Посреди стояла колонна, высокая, прозрачная, как из стекла, что-то танцевало в ней, пурпурные, коричневые и фиолетовые силуэты, ни на что не похожие, как ожившие абстрактные композиции, но очень забавные. То один, то другой цвет сгущался, концентрировался, формировался комичнейшим образом; даже лишенная лиц, голов, рук, ног, вся эта путаница форм не лишена была очень человеческого, даже карикатурного выражения. Присмотревшись, я

понял, что фиолетовый — это хвастун, надутый, чванливый и в то же время трусливый; когда он разлетелся на миллион пританцовывающих пузырей, за дело взялся голубой. Этот был словно неземной, сама скромность, само смирение, но все это было чуть ханжеское, будто он сам на себя молился. Не знаю, сколько я так простоял. Я никогда не видел ничего подобного. Кроме меня, здесь никого не было, только движение черных машин усилилось. Я не видел даже, есть в них люди или нет, потому что все они были без окошек. С этой круглой площади расходилось шесть улиц — одни вверх, другие вниз, они уходили вдаль нежной мозаикой цветных огоньков, чуть ли не на милю. И ни одного Инфора.

Я изрядно устал, не только физически — мне казалось, что я переполнен впечатлениями. Иногда я спотыкался на ходу, хоть вовсе не засыпал; не помню, как и когда забрел в широкую аллею; на перекрестке замедлил шаги, поднял голову и увидел отсвет городских огней на облаках. Это удивило меня, потому что мне казалось, что я нахожусь под землей. Я шел дальше, теперь уже среди моря пляшущих огней, лишенных стекол витрин, среди жестикулирующих, крутящихся юлой, ожесточенно дергающихся манекенов; они

протягивали друг другу какие-то сверкающие предметы, что-то надували — я даже не смотрел в их сторону. В отдалении показалось несколько человек; но я не был уверен, что и это не куклы, и не стал их догонять.

Дома расступились, и я увидел большую надпись: ПАРК ТЕРМИНАЛ — и светящуюся зеленую стрелу.

Эскалатор начинался в проходе между домами, потом вошел в серебряный тоннель, в стенах которого бился золотой пульс, как будто под ртутной кожей стен действительно плыл драгоценный металл; пронесся горячий ветерок, все померкло — я стоял в застекленном павильоне. Он имел форму раковины, в складках гофрированного потолка брезжила туманная, едва уловимая зелень — это был блеск тончайших жилочек, словно фосфоресценция одного огромного подрагивающего листа; во все стороны расходились двери, за ними темнота и маленькие, ползущие по полу буковки: Парк Терминал, Парк Терминал.

Я вышел. Это в самом деле был парк. Невидимые во мраке, протяжно шумели деревья, ветра не было, должно быть, он несся высоко вверху, а мерный, торжественный голос деревьев отделял меня от всего невидимым сводом. Впервые

я почувствовал себя одиноким, но не так, как в толпе, — мне было хорошо в этом одиночестве. Наверно, в парке было много людей, доносились шепотки, временами чье-то лицо мелькало бледным пятном, один раз я чуть не задел кого-то. Вершины деревьев сплелись, и звезды видны были только в просветах листвы. Я вспомнил, что к парку я поднимался, а ведь уже там, на площади пляшущих цветов и улице витрин, надо мной было небо, явно хмурое. Как же могло случиться, что теперь, поднявшись этажом выше, я вижу чистое звездное небо? Этого понять я не мог.

Деревья расступились, и, не успев еще увидеть, я почувствовал дыхание воды, запах ила, гниющих корней, намокших листьев — и замер.

Заросли черным кольцом охватывали озеро. Я слышал шелест камышей и тростника, а вдали, на другой стороне озера, над ним, вздымался единой громадой массив стекловидно светящихся скал, полупрозрачная гора над равнинами ночи; едва заметное голубоватое призрачное сияние наполняло вертикальные бойницы, бастионы и башни, застывшие многогранники зубцов, рвы и пропасти, и этот светящийся колосс, невероятный и неправдоподобный, отражался бледным удлиненным двойником в черных водах озера.

Я стоял, потрясенный и восхищенный, ветер доносил тончайшие, тающие отзвуки музыки; напрягая зрение, я разглядел этажи и террасы этого титанического сооружения, и вдруг, словно в озарении, понял, что снова вижу космопорт, гигантский Терминал, в котором блуждал накануне, и, может быть, даже смотрю на то самое место, где встретил Наис, со дна поразившей меня тогда мрачной равнины.

Что это — еще архитектура или уже состязание с природой? По-видимому, они поняли, что, перейдя определенный рубеж, необходимо отказаться от симметрии, от правильности форм и идти на выучку к величайшему мастеру — смышленые ученики планеты!

Я пошел вдоль озера. Колосс, застывший в сияющем взлете, словно сопровождал меня. Да, это было мужеством — задумать такую форму, воплотить в ней жестокость пропастей, безжалостность и шершавость обрывов и пиков и не скатиться до механического копирования, ничего не утратить, не сфальшивить. Я вернулся к стене деревьев. Бледная, проступающая на черном небе голубизна Терминала еще виднелась сквозь ветви, потом погасла, заслоненная чащей. Я раздвигал руками гибкие ветви, колючки цеплялись

за свитер, царапали брюки, слетевшая с листьев роса, как дождь, осыпалась на лицо, я взял в губы несколько листков, пожевал, они были молодые, горчили, в первый раз по возвращении я испытывал такое: мне ничего не хотелось, я ничего не искал, ни в чем не нуждался, только бы идти вот так, сквозь шелестящую чащу, куда глаза глядят. Так ли все это представлялось мне в течение целых десяти лет?..

Кусты расступились. Извилистая аллея. Мелкий гравий хрустел под ногами, слабо светясь, я хотел бы вновь в темноту, но продолжал идти по аллее — туда, где под каменным кругом стояла человеческая фигура. Понятия не имею, откуда брался свет, окружавший ее, вокруг было пусто, какие-то скамейки, креслица, перевернутый столик, песок, сыпучий и глубокий; я чувствовал, как ноги погружаются в него, какой он теплый, несмотря на ночную прохладу.

Под сводом, возведенным на потрескавшихся, изъеденных колоннах, стояла женщина, словно ожидая меня. Я уже различал ее лицо, мерцание искорок в бриллиантовых пластинках, закрывавших уши, белую, серебрящуюся в тени ткань. Я не мог поверить. Сон? Я был в нескольких десятках шагов от нее, когда она запела. Среди

слепых деревьев ее голос казался слабым, почти детским; я не различал слов, может быть, их и не было — губы ее были полуоткрыты, словно она пила, в лице ни малейшего напряжения, ничего, кроме задумчивости, она, казалось, загляделась, словно видела что-то, чего нельзя увидеть, и об этом пела теперь. Я боялся спугнуть ее, шел все медленней. Я был уже в световом кругу, охватившем каменную беседку. Ее голос усилился, она призывала мрак, умоляла, замирая, руки упали, как будто она забыла о них, как будто в ней не осталось ничего, кроме голоса, с которым она уносилась и таяла, казалось, она отрекалась от всего и все отдавала и прощалась, зная, что вместе с последним, замирающим звуком умрет не только песня. Я не знал, что такое возможно. Она умолкла, а я все еще слышал ее голос. И вдруг за моей спиной какая-то девушка пробежала к беседке, за ней кто-то гнался, с коротким гортанным смешком она сбежала по ступеням вниз и пронеслась сквозь стоявшую, и уже летела дальше, догонявший мелькнул черным силуэтом рядом со мной, они исчезли; снова раздался зовущий смех, и я остался, как пень, вросший в землю, не зная, смеяться мне или плакать; призрачная певица снова затянула что-то тихонько. Я не хо-

тел слушать. Я отошел в темноту с окаменевшим лицом, как ребенок, которому раскрыли, что сказка — ложь. Это казалось профанацией. Я шел, а ее голос преследовал меня. Я свернул в сторону, аллея шла дальше, слабо светились кусты живой изгороди, мокрые фестоны листьев свисали над металлической калиткой. Я отворил ее. Там было как будто светлее. Изгородь оканчивалась широкой вольерой, из травы торчали каменные глыбы, одна из них шевельнулась, приподнялась, на меня глянули два бледных огонька глаз. Я замер. Это был лев. Он встал тяжело сначала на передние лапы; теперь я увидел его целиком, в пяти шагах, — грива у него была небольшая, кудлатая, он потянулся раз-другой, неторопливо, покачивая бедрами, подошел ко мне, не издавая ни малейшего шороха. Я уже пришел в себя.

— Но, но, не пугай, — сказал я.

Он не мог быть настоящим — призрак, как та певица, как те там, внизу, возле черных автомобилей, — он зевнул, стоя в одном шаге от меня, в темной пасти сверкнули клыки, челюсти клацнули с лязгом стального засова, я почувствовал его смрадное дыхание, что за…

Он фыркнул. Я ощутил капельки слюны, и, прежде чем успел ужаснуться, он толкнул меня

своей огромной головой в бедро, ворча, начал тереться об меня, я почувствовал идиотские спазмы истерического смеха в груди…

Он подставил мне горло, обвисшую, тяжелую шкуру. Почти не сознавая, что делаю, я начал почесывать, теребить его, он мурлыкал все громче, сзади сверкнула вторая пара глаз, еще один лев, нет, львица, она толкнула его плечом. В горле у него заклокотало, это было мурлыканье, не рев. Львица настаивала. Он ударил ее лапой. Она яростно фыркнула.

«Это плохо кончится», — подумал я. Я был беззащитен, а львы такие живые, такие настоящие, каких только можно себе вообразить. Я ощущал тяжелый смрад их тел. Львица продолжала фыркать; вдруг лев вырвал свои жесткие патлы из моих рук, повернул к ней свою огромную голову и заревел; львица распласталась по земле.

— Мне пора, — сказал я, обращаясь к ним, беззвучно, одними губами и стал отступать к калитке, осторожно пятясь — малоприятная минута, но лев, казалось, вообще не замечал меня. Он тяжело лег, снова превратившись в продолговатый камень, львица стояла над ним и толкала его мордой.

Я с трудом удержался, чтобы не броситься

бегом, когда закрыл за собой калитку. Колени подкашивались, в горле першило, и вдруг мое покашливание сменилось неудержимым смехом: я вспомнил, как говорил ему «но, но, не пугай», будучи уверен, что это только призрак…

Вершины деревьев отчетливо выделялись на небе; светало. Я был даже рад этому, потому что не знал, как выбраться из парка. Парк уже совершенно опустел. Я прошел мимо каменной беседки, где раньше увидел певицу, в следующей аллее набрел на робота, подстригавшего траву. Он ничего не знал о гостинице, но объяснил мне, как пройти к ближайшему эскалатору. Я спустился вниз, на несколько этажей, не меньше, и, выйдя на улицу нижнего горизонта, удивился, снова увидев над собой небо. Но и моя способность удивляться была на исходе. Я был сыт по горло. Я куда-то шел, помню, что сидел возле фонтана, а может быть, то был не фонтан, встал, пошел дальше в нарастающем свете нового дня, пока не очнулся от забытья прямо против огромных сверкающих окон с огненными буквами ОТЕЛЬ «АЛЬКАРОН».

В белом холле, напоминавшем перевернутую вверх дном гигантскую ванну, сидел робот, великолепно стилизованный под портье, полу-

прозрачный, с длинными тонкими руками. Ни о чем не спрашивая, он подал мне книгу, я вписал свое имя и, получив маленький треугольный жетон, отправился наверх. Кто-то — я уж не помню кто — помог мне открыть дверь, точнее, открыл ее вместо меня. Стены словно из льда; в стенах — блуждание огоньков; из-под окна, к которому я подошел, появилось из ничего кресло, сверху уже спускался плоский лист, чтобы образовать что-то вроде бюро, но мне нужна была кровать. Я не мог ее найти и даже искать не пытался. Я упал на пенистый ковер и тотчас заснул в искусственном свете этой комнаты без окон — то, что я принял сначала за окно, было, конечно, телевизором, я уходил в сон, ощущая, что оттуда, из-за стеклянной стены, гримасничает какая-то огромная рожа, оценивает меня, смеется, болтает, брюзжит… Сон был спасителен, как смерть; даже время в нем остановилось.

II

Еще не открыв глаз, я коснулся рукой груди. На мне был свитер; если я спал не раздеваясь, значит, была моя вахта. «Олаф!» — чуть было не позвал я и вдруг вскочил.

Это был отель, а не «Прометей». Я сразу вспомнил все: лабиринты порта, девушку, посвящение в тайну, ее страх, голубоватую глыбу Терминала над черным озером, певицу, львов…

В поисках ванной я случайно обнаружил кровать; она сливалась со стеной и выпадала жемчужным, набухшим квадратом, если что-то там нажать. В ванной не было ни ванны, ни кранов, ничего, одни лишь блестящие плитки в потолке и небольшие углубления для ног, выложенные губчатым пластиком. На душ это тоже что-то не походило. Я почувствовал себя неандертальцем. Быстро разделся и застыл с одеждой в руках — вешалок тоже не было, зато был небольшой шкафчик в стене, я втиснул туда все свои вещи. Рядом три кнопки — голубая, красная и белая. Нажал белую. Погас свет. Красную. Зашумело, но это все-таки была не вода, просто какой-то

мощный вихрь, отдающий озоном и еще чем-то; он охватил меня с головы до ног, на коже оседали мелкие блестящие пузырьки, они шипели и исчезали, не ощущалось даже влажности, а так, словно покалывание маленьких электрических иголочек, массирующих мускулы. Я нажал на голубую кнопку, и вихрь как-то изменился — теперь он как будто пронизывал меня насквозь — очень странное ощущение. Я подумал, что если привыкнуть, то это может даже понравиться. В Адапте на Луне такого не было — там были обыкновенные ванны. Понятия не имею почему. Кровь теперь бежала быстрее, я чувствовал себя отлично, недоставало только одного — чем и как вычистить зубы. В конце концов я решил махнуть на это рукой. В стене была еще одна дверца, с надписью: «Купальные халаты». Я заглянул внутрь. Никаких халатов, какие-то три металлические фляжки вроде сифонов. Но я был абсолютно сух, и мне не нужно было вытираться.

Я открыл шкафчик, в который вложил одежду, и остолбенел: он был пуст. Хорошо хоть, что плавки бросил на шкаф. Я вернулся в комнату в плавках и принялся разыскивать телефон, чтобы разузнать, что случилось с одеждой. Все это было, пожалуй, слишком хлопотно. Телефон я нашел в

конце концов у окна — так я продолжал называть телеэкран, — он выскочил из стены, когда я начал во всеуслышание ругаться; наверно, реагировал на голос. Идиотская мания прятать все в стены. Отозвались из приемной. Я спросил об одежде.

— Вы вложили ее в чист, — ответил мягкий баритон. — Будет готова через пять минут.

«И на том спасибо», — подумал я. Сел за столик, крышка которого предупредительно подсунулась под локоть, едва я нагнулся. Как это делалось? Стоит ли интересоваться; большинство людей пользуется техникой своего времени, абсолютно не понимая ее.

Я сидел в одних плавках и обдумывал различные возможности. Можно было пойти в Адапт. Если бы дело было только в ознакомлении с техникой и обычаями, я бы не стал раздумывать, но я уже на Луне приметил, что одновременно они стараются навязать определенный подход, даже готовую оценку явлений; они предлагали готовую шкалу ценностей и, если видели, что вы с ней не соглашаетесь, объясняли это — и вообще все ваше поведение — консерватизмом, подсознательным сопротивлением, рутиной, старыми привычками и так далее. А я и не собирался отказываться ни от своих привычек, ни от

своего консерватизма, по крайней мере до тех пор, пока сам не решу, что мне предлагают нечто лучшее. Но уроки сегодняшней ночи нисколько не убедили меня в этом. Не нуждался я ни в их наставлениях с первой же минуты, ни в их заботливой снисходительности. Интересно, почему они не подвергли меня этой бетризации? Нужно обязательно узнать.

Можно было бы поискать кого-нибудь из наших, Олафа например. Правда, это выглядело бы как нарочитое нарушение инструкций Адапта. О да, ведь они ничего не приказывали, они все время твердили, что действуют в наших интересах, что я могу поступать как мне заблагорассудится, даже прыгнуть с Луны прямо на Землю (шуточки доктора Абса), если мне так не терпится. Я не собирался подчиняться им, но Олафу это могло не понравиться. Во всяком случае, я ему напишу. Адрес есть.

Работа. Искать работу? Какую, пилота? И что, гонять на линии Марс — Земля — Марс? Это я бы смог, но…

Я вдруг вспомнил, что у меня есть какие-то деньги. То есть это были не деньги, они как-то иначе назывались, но я не мог понять, в чем тут различие, если все равно на них все можно было

достать. Я попросил соединить меня с городом. В трубке зазвучал далекий мелодичный сигнал. На телефоне не было ни диска, ни цифр, может быть, следовало произнести название банка? Оно было у меня записано на карточке. Карточка? Там, в одежде… Я заглянул в ванную, одежда уже лежала в шкафу, будто свежевыстиранная, в карманах всякая мелочь и эта карточка. Этот банк вовсе не был банком, он назывался Омнилокс. Я назвал это слово, и тотчас же, будто моего вызова ждали, отозвался низкий голос:

— Омнилокс слушает.

— Меня зовут Брегг, — сказал я. — Эл Брегг, и кажется, у вас есть мой счет… я хотел бы узнать, сколько там?

Что-то щелкнуло, и другой, более высокий голос произнес:

— Эл Брегг?

— Да.

— Кто открыл счет?

— Управление космической навигации по распоряжению Планетологического института и Космической комиссии ООН, но это было сто двадцать семь лет тому назад…

— У вас есть какие-нибудь удостоверения?

— Нет, только карточка из лунного Адапта, от

доктора Освамма…

— Отлично. Ваш счет: двадцать шесть тысяч четыреста семь итов.

— Итов?

— Да. Что вас еще интересует?

— Я хотел бы получить немного де… этих самых итов.

— В каком виде? Не хотите ли кальстер?

— Что это такое? Чековая книжка?

— Нет. Вы сможете сразу платить наличными.

— Ах, вот как! Отлично.

— На какую сумму открыть вам кальстер?

— Понятия не имею — тысяч на пять…

— Пять тысяч. Хорошо. Выслать в отель?

— Да. Одну минутку, я забыл, как он называется, этот отель.

— Это тот, из которого вы звоните?

— Тот самый.

— Это «Алькарон». Мы вышлем сейчас же. Только вот что: не изменилась ли ваша правая рука?

— Нет… а что?

— Ничего. В противном случае нам пришлось бы изменить кальстер. Вы сейчас его получите.

— Благодарю, — сказал я, кладя трубку. Двадцать шесть тысяч, сколько это? Я понятия не имел. Что-то забренчало. Радио? Телефон? Я под-

нял трубку.

— Брегг?

— Да, — ответил я. Сердце ударило сильней, всего один раз. Я узнал ее голос. — Откуда ты узнала, где я? — спросил я, потому что она не сразу отозвалась.

— По Инфору. Брегг… Эл… послушай, я хотела тебе объяснить…

— Нечего объяснять, Наис.

— Ты злишься. Но пойми…

— Я не злюсь.

— Эл, правда? Приходи сегодня ко мне. Придешь?

— Нет, Наис, скажи, пожалуйста, сколько это — двадцать с лишним тысяч итов?

— Как это сколько? Эл… ты должен прийти.

— Ну… сколько времени можно на это прожить?

— Сколько угодно, мы ведь ничего не тратим на жизнь. Но не надо об этом. Эл, если бы ты захотел…

— Подожди. Сколько итов ты тратишь в месяц?

— По-разному. Иногда двадцать, иногда пять, а то и вообще ничего.

— Ага. Спасибо.

— Эл! Послушай!

— Я слушаю.

— Это не может так кончиться…

— Что кончится? — сказал я. — Ничего не начиналось. Благодарю тебя за все, Наис.

Я положил трубку.

На жизнь почти ничего не тратят?.. Это в данную минуту интересовало меня больше всего. Что же, значит, какие-то вещи, какие-то услуги бесплатны?

Снова телефон.

— Брегг слушает.

— Приемная. Вам прислан кальстер из Омнилокса. Высылаю его в ваш номер.

— Благодарю… Алло!

— Слушаю?

— Нужно платить за номер?

— Нет.

— Скажите, а ресторан… есть в гостинице?

— Да, четыре. Прислать вам завтрак в номер?

— Хорошо, а за еду… платят?

— Нет. Кальстер уже наверху. Завтрак будет через минуту.

Робот отсоединился, и я не успел спросить его, где мне искать этот кальстер. Я не имел ни малейшего представления, как он выглядит. Встав

из-за столика, который тотчас съежился и увял в одиночестве, я увидел что-то вроде подставки, вырастающей из стены, возле двери; на ней лежал плоский предмет, завернутый в полупрозрачный пластик и похожий на небольшой портсигар. С одной стороны шел ряд окошечек, цифры в них образовывали 1001110001000. Ниже две малюсенькие кнопочки с цифрами «один» и «ноль». Я смотрел, ошарашенный, и вдруг понял, что это записано 5 тысяч в двоичной системе. Я нажал кнопку с единичкой, и на ладонь вывалился крохотный пластмассовый треугольничек с выдавленным на нем «1». Значит, это было нечто вроде устройства, печатающего или отливающего деньги, в пределах суммы, обозначенной в окошках, — число уменьшилось на единицу.

Я оделся и уже собирался выйти, но тут вспомнил об Адапте. Я позвонил туда и объяснил, что не смог найти их человека в Терминале.

— Мы уже беспокоились о вас, — отозвался женский голос, — но сегодня с утра узнали, что вы поселились в «Алькароне»…

Они знали, где я нахожусь. Почему же они не разыскали меня в порту? Несомненно, нарочно: рассчитывали, что, заблудившись, я пойму, как неуместен был мой «бунт» на Луне.

— У вас великолепно поставлена информация, — ответил я с изысканной вежливостью. — Пока что я отправляюсь осматривать город. Позвоню вам позже.

Я вышел из комнаты; серебряные движущиеся коридоры плыли здесь целиком, вместе со стенами — для меня это было новостью. Я отправился вниз по эскалатору; на каждом этаже мелькали бары, один был совершенно зеленый, словно погруженный в воду, каждый этаж имел свой цвет — серебро, золото, — все это начинало понемногу надоедать. Всего лишь за день! Странно, что им это нравилось. Впрочем… я вспомнил ночной вид на Терминал.

Нужно немного привести себя в порядок, с таким решением я вышел на улицу.

День был пасмурный, но облака светлые, высокие, и солнце временами пробивалось сквозь них. Только теперь с бульвара, где в два ряда стояли огромные пальмы с розовыми, как языки, листьями, я увидел панораму города. Дома располагались отдельными островками, кое-где в небо вонзались иглы небоскребов, словно взметнувшиеся на невероятную высоту и окаменевшие в полете струи. Они вздымались не меньше чем на километр. Я знал — кто-то мне говорил еще на

Луне, — что их теперь уже не строят, что мода на них скончалась естественной смертью именно после постройки этих гигантов. Они высились памятниками быстро угасшей архитектурной эпохи — ведь, кроме высоты, изуродованной худосочностью, они ничем не радовали глаз. Темно-коричнево-золотые, бело-черные в поперечную полоску или серебряные — словно трубы, которые не то поддерживают, не то ловят облака; выступавшие на фоне неба посадочные площадки на трубчатых опорах напоминали этажерки.

Несравненно красивее были новые дома. В них не было окон, и это позволяло целиком расписывать стены. Весь город казался одним гигантским вернисажем, на котором соперничали мастера цвета и формы. Не скажу, что мне нравилось все, что украшало эти двадцати– и тридцатиэтажные сооружения, но, учитывая мой почти стопятидесятилетний возраст, меня, пожалуй, нельзя было обвинить в излишнем консерватизме. Больше всего мне понравились здания с висячими садами, часто пальмовыми. Полосы буйной зелени этих садов-оранжерей как бы рассекали на части фасады домов, их прозрачные стены создавали впечатление легкости. Верхние этажи словно покоились на воздушных подушках.

По бульвару мимо мясистых пальм, которые мне как-то особенно не понравились, неслись два потока черных машин. Я уже знал, что они называются глидерами. Над домами появились летающие машины, но не похожие ни на самолеты, ни на геликоптеры. Больше всего они походили на заточенные с двух концов карандаши.

Поток пешеходов на тротуарах был куда реже, чем в мое время. Движение вообще было в значительной мере разгружено, особенно пешеходное, может быть, благодаря увеличению количества горизонтов; ведь под тем городом, который я сейчас видел, простирались его следующие, более глубокие, подземные этажи, с улицами, площадями, магазинами; Инфор на углу как раз сказал мне, что покупки лучше всего производить на уровне Сереан. То ли этот Инфор был какой-то гениальный, то ли я уже научился немного лучше изъясняться, во всяком случае, я заполучил здесь в собственность пластиковую книжечку с четырьмя раскладывающимися страницами — схемами городских коммуникаций. Если нужно было куда-нибудь попасть, достаточно было коснуться названий улицы, уровня, площади — и на карте сразу же вспыхивал план всех

необходимых маршрутов. Можно было также отправиться на глидере. Или на расте. Наконец пешком; поэтому карт было всего четыре. Но я уже на собственном опыте знал, что пешеходные маршруты (даже по движущимся тротуарам и эскалаторам) отнимали слишком много времени.

Сереан, по-видимому, был третьим по счету горизонтом. И снова меня поразил вид города: выйдя из тоннеля, я оказался не на подземной магистрали, а на улице под ясным небом, в полном свете полуденного солнца. Посреди площади росли огромные пинии, вдали голубели полосатые небоскребы, а дальше, через площадь, за бассейном, в котором дети взбивали воду, разъезжая на пестрых аквапедах, возвышался разрезанный поясами зелени белый многоэтажный дом, на крыше которого сверкал, как стекло, какой-то странный колпак. Жаль, некого было спросить, каким чудом я вместо подземелья оказался вновь под открытым небом! Но тут вдруг желудок напомнил, что я еще не завтракал; совсем забыв, что завтрак должны были принести в номер, я вышел из отеля, не дождавшись обещанного. А может, робот из приемной что-нибудь перепутал?

Итак, к Инфору; теперь я уже ничего не предпринимал, не расспросив сначала толком, что

и как; через Инфор можно было даже заказать глидер, но об этом я еще не решался просить, потому что не знал, как в него садиться и вообще что с ним делать; впрочем, это было не к спеху.

В ресторане, едва лишь взглянув в меню, я понял, что для меня это китайская грамота, и решительно приказал принести завтрак, обычный завтрак.

— Озот, кресс или герма?

Будь официант человеком, я попросил бы его принести что-нибудь по собственному выбору, но это был робот. Ему было все равно.

— А кофе у вас есть? — опасливо спросил я.

— Есть. Кросс, озот или герма?

— Кофе и это… ну, то, что больше всего подходит к кофе… этот, как его…

— Озот, — сказал он и отошел.

Удача!

Не иначе как все это было у него заранее приготовлено, потому что он тотчас же вернулся, неся такой заставленный поднос, что я заподозрил было какой-то подвох или насмешку. Но, взглянув на поднос, отчетливо ощутил, что, кроме вчерашнего бонса и бокала пресловутого брита, у меня ничего не было во рту с самого приезда.

Все блюда казались совершенно незнакомыми,

кроме кофе, напоминающего отлично приготовленную смолу. Сливки в крохотных голубых крапинках наверняка не имели никакого отношения к корове. Жаль, не было никого, чтобы подсмотреть, как со всем этим управляться, — время завтрака, по-видимому, миновало, потому что я был здесь один. Серповидные тарелочки с дымящейся массой, из которой торчали вроде бы кончики спичек, посреди как будто печеное яблоко; понятно, это оказалось не яблоко и не спички; а то, что я принял за овсяные хлопья, вдруг начало разрастаться, когда я его коснулся ложечкой.

Я был безумно голоден и проглотил все, без хлеба (которого не было и в помине). Моя хлебная ностальгия, носившая скорее философический оттенок, появилась лишь потом, почти одновременно с роботом, который остановился в некотором отдалении.

— Сколько? — спросил я.

— Благодарю, ничего, — ответил он.

Пожалуй, он походил все-таки больше на прибор, чем на человека. Единственный, круглый, кристаллический глаз. Что-то шевелилось внутри него, но я не отважился заглядывать ему в брюхо. Даже чаевые некому было дать! Неизвест-

но, поймет ли он, если я попрошу газету. А может, газет уже и не существует. Я решил сам отправиться на поиски. Но сразу же наткнулся на Бюро Путешествий, и меня словно осенило. Я вошел.

Под изумрудными арками огромного серебристого зала (всем этим обилием расцветок я уже был сыт по горло) было почти пусто. Матовые стекла, гигантские цветные фотографии каньона Колорадо, кратера Архимеда, ущелий Деймоса, Палм-Бич, Флориды — все это было сделано так, что ощущалась глубина, даже волны катились, как будто это не фотографии, а окна, распахнутые в открытые просторы. Я подошел к окошку с табличкой ЗЕМЛЯ.

Там, разумеется, сидел робот. На сей раз золотого цвета. Точнее, позолоченный.

— Чем могу быть полезен? — спросил он. Голос был глубокий. Закрыв глаза, можно было бы поклясться, что говорит крепкий, темноволосый мужчина.

— Мне бы хотелось чего-нибудь примитивного, — сказал я. — Я только что вернулся из длительного путешествия. Чрезмерного комфорта я не требую. Спокойное место, вода, деревья, могут быть горы. Чтобы было примитивно и по старинке. Как лет сто назад. Нет ли чего-нибудь

в этом роде?

— Раз вы заказываете, у нас должно быть. Скалистые горы. Форт Плумм, Майорка, Антильские острова.

— Поближе, — сказал я. — Так... в радиусе до тысячи километров. А?

— Клавестра.

— Где это?

Я заметил, что с роботами мне легче разговаривать: они ничему не удивляются. Они не умеют. Это было мудро придумано.

— Старинный горняцкий поселок вблизи Тихого океана. Рудник, неразрабатываемый вот уже четыреста лет. Увлекательные путешествия подземными эскалаторами. Удобное сообщение ульдерами и глидерами. Дома отдыха с медицинским персоналом, сдаются виллы с садом, купальным бассейном, климатической стабилизацией. Местный филиал нашего бюро организует всевозможные развлечения, экскурсии, игры, дружеские встречи. На месте — реал, мут и стереон.

— Да, это, пожалуй, для меня, — сказал я, — вилла с садом. И чтобы была вода. Бассейн, не так ли?

— Разумеется. Бассейн с трамплином, ис-

кусственные озера с подводными пещерами, прекрасно оборудованный район для аквалангистов, подводные феерии…

— Ладно, феерии мы оставим в покое. Сколько стоит?

— Сто двадцать итов ежемесячно. Но если вместе еще с кем-нибудь, то всего сорок.

— Вместе?

— Виллы очень просторны. От двенадцати до восемнадцати помещений — автоматическое обслуживание, приготовление еды на месте, питание стандартное или экзотическое, на выбор…

— Мда. Пожалуй, действительно… хорошо. Моя фамилия Брегг. Я согласен. Как это называется? Клавестра? Платить сейчас же?

— Как угодно.

Я протянул ему кальстер.

Оказалось — я этого не знал, — что только я могу его включать, но робот, разумеется, нисколько не удивился моему невежеству. Эти роботы начинали мне нравиться все больше. Он показал, как сделать, чтобы изнутри выпадал только один жетон с необходимой цифрой. Ровно на столько же уменьшалось число в окошечках наверху, показывающее состояние счета.

— Когда я могу выехать?

— Когда пожелаете. В любую минуту.

— Ах да, а с кем я буду делить эту виллу?

— Марджеры. Он и она.

— Кто они такие?

— Могу сообщить только, что это молодожены.

— Хм. Я им не помешаю?

— Нет, поскольку половина виллы сдается. Весь второй этаж будет принадлежать исключительно вам.

— Ну хорошо. А как я туда попаду?

— Лучше всего ульдером.

— Как это сделать?

— Я закажу вам ульдер на тот день и час, который вы укажете.

— Я позвоню из отеля. Это возможно?

— Как вам будет угодно. Плата насчитывается с той минуты, как вы войдете в виллу.

В моей голове начинал неясно вырисовываться некий план. Накуплю книжек и всякой спортивной всячины. Первым делом — книги. И еще нужно подписаться на специальные журналы. Социология, физика. Они, наверно, сделали кучу дел за эти сто лет. Ах да, нужно еще купить какой-нибудь костюм.

И снова что-то спутало мои карты. Повернув за угол, я вдруг, не веря собственным глазам,

увидел автомобиль. Настоящий автомобиль. Ну, может быть, не совсем такой, какие я помнил, — кузов, казалось, состоял из одних только острых углов. Но это был самый настоящий автомобиль, с надувными шинами, дверцами, рулем, и за ним стояли другие автомобили. Все за большой витриной; на ней огромными буквами — АНТИКВАРИАТ. Я вошел. Хозяин — или продавец — человек, не робот. «Жаль», — подумал я.

— Нельзя ли купить автомобиль?

— Разумеется. Какой вам угодно?

— Сколько они стоят?

— От четырехсот до восьмисот итов.

«Солидно!» — подумал я. Ну что ж, за древности приходится раскошеливаться.

— А на нем можно ездить?

— О, конечно. Не всюду, правда, есть запрещенные места, но в общем вполне возможно.

— А как с горючим? — осторожно спросил я, не имея ни малейшего понятия, что там было под капотом.

— О, это не доставит вам хлопот. Один заряд обеспечит вас на все время жизни машины. С учетом парастатов, разумеется.

— Отлично, — сказал я. — Я бы хотел что-нибудь мощное, прочное. Не очень большое, но быстрое.

— Тогда я посоветовал бы вам вот этот Джиабиль или вон ту модель…

Он провел меня в глубину большого зала вдоль машин, сверкавших, как новенькие.

— Конечно, — продолжал продавец, — с глидерами они тягаться не могут, но, с другой стороны, автомобиль ведь сегодня уже не средство сообщения.

«А что же?» — хотел я спросить, но промолчал.

— Хорошо… Сколько стоит вот эта машина? — И указал на светло-голубой лимузин с глубоко сидящими серебряными фарами.

— Четыреста восемьдесят итов.

— Но он нужен мне в Клавестре, — продолжал я. — Я снял там виллу. Точный адрес вам может сообщить Бюро Путешествий, тут, за углом…

— Отлично, все в порядке. Можно послать с ульдером: это бесплатно.

— Вот как? Я тоже еду туда на ульдере.

— Вам достаточно сообщить нам дату, мы доставим машину к вашему ульдеру, это будет проще всего. Разве что вы хотели бы…

— Нет, нет. Пусть будет так, как вы предлагаете.

Я заплатил за машину — с кальстером я уже обращался почти умело — и вышел из антиква-

риата, наполненного запахом лака и резины. Благословенный аромат!

С одеждой все сразу пошло из рук вон плохо. Не было почти ничего привычного. Зато выяснилось наконец назначение загадочных сифонов, тех, в ванном шкафчике с надписью: «Купальные халаты». Не только такой халат, но и костюмы, чулки, свитеры, белье — все делалось из выдувного пластика. Понятно, женщинам это должно было нравиться — манипулируя несколькими сифонами, можно было всякий раз создавать себе новый наряд, даже на единственный случай; сифоны выделяли жидкость, которая тут же застывала в виде ткани с гладкой или шершавой фактурой: бархата, меха или упругой с металлическим отливом. Конечно, не все женщины занимались этим сами, были специальные школы пластования (вот чем занималась Наис). Но в общем вся эта технология породила моду «в обтяжку», которая мне не очень-то подходила. Сама процедура одевания с помощью сифонов тоже показалась мне чересчур хлопотной. Были и готовые вещи, но и эти меня не устраивали; даже самым большим недоставало чуть ли не четырех номеров до моих размеров. В конце концов я решился прибегнуть к помощи сифонов — видно было, что моя ру-

башка не долго протянет. Можно было, конечно, доставить остатки вещей с «Прометея», но там у меня тоже не было вечерних белоснежных рубах — в окрестностях планетной системы Фомальгаут они не так уж необходимы. В общем, я остановился на нескольких парах рабочих брюк для работы в саду, лишь они имели относительно широкие штанины, которые можно было попробовать надставить; за все вместе я выложил один ит — ровно столько стоили эти штанишки. Остальное шло даром. Я велел прислать вещи в отель и уже просто из любопытства дал себя уговорить заглянуть в салон мод. Меня принял субъект, выглядевший как свободный художник, оглядел меня, согласился, что мне идут просторные вещи; я заметил, что он не был от меня в восторге. Я от него тоже. Кончилось все это тем, что он сделал мне тут же несколько свитеров. Я стоял подняв руки, а он вертелся вокруг меня, оперируя сразу четырьмя флаконами. Жидкость, белая, как пена, на воздухе моментально застывала. Таким образом были созданы четыре свитера самых разных цветов, один с полоской на груди, красное на черном; самой трудной, как я заметил, была отделка воротника и манжет. Тут действительно требовалось мастерство.

Обогатившись этими впечатлениями, которые вдобавок ничего мне не стоили, я оказался на улице в самый разгар дня. Глидеров стало как будто меньше, зато над крышами появилось множество сигарообразных машин. Толпы плыли по эскалаторам на нижние этажи, все спешили, только у меня было времени хоть отбавляй. Часок погрелся на солнышке, сидя под рододендроном со следами жесткой шелухи там, где отмерли листья, потом вернулся в отель. В холле мне вручили аппаратик для бритья; занявшись этой процедурой в ванной, я вдруг заметил, что мне приходится немного наклоняться к зеркалу, хотя я помнил, что накануне мог рассмотреть себя в нем не наклоняясь. Разница была ничтожная, но еще раньше, снимая рубаху, я заметил нечто странное: она стала короче. Ну, так, словно села. Теперь я внимательно присмотрелся к ней. Воротничок и рукава совершенно не изменились. Я положил ее на стол. Она была точно такая же, как раньше, но, когда я ее натянул на себя, края оказались чуть ниже пояса. Это не она, это я изменился. Я вырос.

Мысль абсурдная, и все-таки она обеспокоила меня. Я вызвал внутренний Инфор и попросил сообщить мне адрес врача — специалиста по

космической медицине. В Адапте я предпочитал не появляться как можно дольше. После непродолжительного молчания — казалось, автомат задумался — я услышал адрес. Доктор жил на той же улице, несколькими кварталами дальше. Я отправился к нему. Робот провел меня в большую затемненную комнату. Кроме меня, здесь не было никого.

Минуту спустя вошел врач. Он выглядел так, как будто сошел с семейной фотографии в кабинете моего отца. Маленький, но не худой, с седой бородкой, в золотых очках — первые очки, которые я увидел на человеческом лице с момента возвращения. Его звали доктор Жуффон.

— Эл Брегг? — спросил он. — Это вы?

— Я.

Он долго молчал, разглядывая меня.

— Что вас беспокоит?

— По существу, ничего, доктор, только… — Я рассказал ему о своих странных наблюдениях.

Он молча открыл передо мной дверь. Мы вошли в небольшой кабинет.

— Разденьтесь, пожалуйста.

— Совсем? — спросил я, оставшись в брюках.

— Да.

Он осмотрел меня.

— Теперь таких мужчин нет, — пробормотал он, будто говорил сам с собой.

Прикладывая к груди холодный стетоскоп, выслушал сердце. «И через тысячу лет будет так же», — подумал я, и эта мысль доставила мне крохотное удовлетворение. Он измерил мой рост и велел лечь. Внимательно посмотрел на шрам под правой ключицей, но не сказал ничего. Осмотр длился почти час.

Рефлексы, емкость легких, электрокардиограмма — ничего не было забыто. Когда я оделся, он присел за маленький черный столик. Скрипнул выдвинутый ящик, в котором он что-то искал. После всей этой мебели, которая начинала вертеться при виде человека, как припадочная, этот старенький столик пришелся мне как-то особенно по душе.

— Сколько вам лет?

Я объяснил ему, как обстоят дела.

— У вас организм тридцатилетнего мужчины, — сказал он. — Вы гибернезировались?

— Да.

— Долго?

— Год.

— Зачем?

— Мы возвращались на ускорении. Пришлось

лечь в воду. Амортизация, понимаете, ну а в воде трудно пролежать целый год, бодрствуя…

— Понятно. Я полагал, что вы гибернезировались дольше. Этот год можете спокойнейшим образом вычесть. Не сорок, а только тридцать девять лет.

— А… рост?

— Это чепуха, Брегг. Сколько у вас было?

— Ускорение? Два g.

— Ну вот, видите! Вы думали, что растете, а? Нет. Не растете. Это просто межпозвоночные диски. Знаете, что это такое?

— Да, это такие хрящи в позвоночнике…

— Вот именно. Они разжимаются сейчас, когда вы освободились из-под этого пресса. Какой у вас рост?

— Когда мы улетали — сто девяносто семь.

— А потом?

— Не знаю. Не измерял; не до этого было, понимаете…

— Сейчас в вас два метра два.

— Хорошенькое дело, — пробормотал я, — и долго еще так протянется?

— Нет. Вероятно, уже все… Как вы себя чувствуете?

— Хорошо.

— Все кажется легким, да?

— Теперь уже меньше. В Адапте, на Луне, мне дали какие-то пилюли для уменьшения напряжения мышц.

— Вас дегравитировали?

— Да. Первые три дня. Говорили, что это недостаточно после стольких лет, но, с другой стороны, не хотели держать нас после всего этого взаперти…

— Как самочувствие?

— Ну… — начал я неуверенно, — временами… я себе кажусь неандертальцем, которого привезли в город…

— Что вы собираетесь делать?

Я сказал ему о вилле.

— Это, может быть, и не так уж плохо, — сказал он, — но…

— Адапт был бы лучше?

— Я этого не сказал. Вы… а знаете ли, что я вас помню?

— Это невозможно! Ведь вы же не могли…

— Нет. Но я слышал о вас от своего отца. Мне тогда было двенадцать лет.

— О, так это было, очевидно, уже много лет спустя после нашего отлета, — вырвалось у меня, — и нас еще помнили? Странно.

— Не думаю. Странно скорее то, что вас забыли. Ведь вы же знали, как будет выглядеть возвращение, хоть и не могли, конечно, все это себе представить?

— Знал.

— Кто вас ко мне направил?

— Никто. Вернее, Инфор в отеле. А что?

— Занятно, — сказал он. — Дело в том, что я не врач, собственно.

— Как!

— Я не практикую уже сорок лет! Занимаюсь историей космической медицины, потому что это уже история, Брегг, и, кроме как в Адапте, работы для специалистов уже нет.

— Простите, я не знал.

— Чепуха. Скорее я должен вас благодарить. Вы — живой аргумент против утверждений школы Милльмана, считающей, что увеличенная тяжесть вредно влияет на организм. У вас даже нет расширения левого предсердия, ни следа эмфиземы… и великолепное сердце. Но ведь вы это сами знаете?

— Знаю.

— Как врачу, мне нечего добавить, Брегг, но, видите ли… — Он был в нерешительности.

— Да?

— Как вы ориентируетесь в нашей… нынешней жизни?

— Туманно.

— Вы седой, Брегг.

— Разве это имеет какое-нибудь значение?

— Да. Седина означает старость. Никто сейчас не седеет, Брегг, до восьмидесяти, да и после это довольно редкий случай.

Я понял, что это правда: я почти совсем не видел стариков.

— Почему?

— Есть соответствующие препараты, лекарства, останавливающие процесс поседения. К тому же можно восстановить первоначальный цвет волос, хотя это утомительная процедура.

— Ну хорошо… — сказал я. — Но зачем вы мне это говорите?

Я видел, что он никак не решается.

— Женщины, Брегг, — коротко ответил он.

Я вздрогнул.

— Вы хотите сказать, что я выгляжу как… старик?

— Как старик — нет, скорее как атлет… но вы ведь не разгуливаете нагишом. Особенно когда сидите, вы выглядите… то есть случайный прохожий примет вас за омолодившегося старика.

После восстановительной операции, подсадки гормонов и тому подобного.

— Ну что ж… — сказал я. Не знаю, почему я чувствовал себя так мерзко под его спокойным взглядом. Он снял очки и положил их на стол. Его голубые глаза чуточку слезились.

— Вы многого не понимаете, Брегг. Если бы вы собирались до конца жизни посвятить себя самоотверженной работе, ваше «ну что ж» было бы, возможно, уместным, но… то общество, в которое вы возвратились, не пылает энтузиазмом к тому, за что вы отдали больше, чем жизнь.

— Не нужно таких слов, доктор.

— Я говорю так, потому что так думаю. Отдать жизнь, что ж? Люди делали это испокон веков… но отдать всех друзей, родных, знакомых, женщин — ведь вы же пожертвовали всем этим, Брегг!

— Доктор…

Это слово с трудом прошло сквозь гортань. Я оперся локтем о старый стол.

— И, кроме горсточки спецов, это не интересует никого, Брегг. Вы это знаете?

— Да. Мне сказали об этом на Луне, в Адапте… только… они выразили это… мягче.

Мы замолчали.

— Общество, в которое вы возвратились, стабилизировалось. Оно живет спокойно. Понимаете? Романтика раннего периода космонавтики кончилась. Это напоминает историю Колумба. Его путешествие было чем-то необычным, но кто интересовался капитанами парусников спустя двести лет? О вашем возвращении поместили две строчки в реале.

— Доктор, но это ведь не имеет никакого значения, — сказал я. Его сочувствие начинало меня раздражать еще больше, чем равнодушие других. Но этого я не мог ему сказать.

— Имеет, Брегг, хотя вы не хотите согласиться с этим. Если бы на вашем месте был кто-нибудь другой, я бы промолчал, но вы имеете право знать правду. Вы одиноки. Человек не может жить одиноко. Ваши интересы, все то, с чем вы вернулись, — это островок в море безразличия. Сомневаюсь, многие ли захотят слушать то, что вы могли бы рассказать. Я бы захотел, но мне восемьдесят девять лет…

— Мне нечего рассказывать, — желчно ответил я. — Во всяком случае, ничего сенсационного. Мы не открыли никакой галактической цивилизации, кроме того, я был всего лишь пилотом. Я вел корабль. Кто-то должен был это сделать.

— Вот как? — тихо сказал он, поднимая седые брови. Внешне я был спокоен, но мною овладело бешенство.

— Так! И тысячу раз так! А это равнодушие, сейчас — если уж вы хотите знать — задевает меня только из-за тех, кто не вернулся…

— Кто не вернулся? — спросил он совершенно спокойно.

Я успокоился.

— Многие. Ардер, Вентури, Эннессон. Зачем вам, доктор…

— Я спрашиваю не из праздного любопытства. Это была — поверьте, я тоже не люблю громких слов, — это была как бы моя собственная молодость. Из-за вас я посвятил себя своей профессии. Мы с вами равны своей бесполезностью. Вы, разумеется, можете с этим не соглашаться. Я не буду настаивать. Но мне хотелось бы знать. Что произошло с Ардером?

— Точно неизвестно, — ответил я. Мне вдруг все стало безразлично. Почему бы в конце концов не рассказать? Я уставился на потрескавшийся черный лак столика. Никогда не думал, что это так будет выглядеть.

— Мы вели два зонда над Арктуром. Я потерял с ним связь. Не мог его отыскать. Это его радио

замолчало, не мое. Когда у меня кончился кислород, я вернулся.

— Вы ждали?

— Да. В общем я кружился вокруг Арктура шесть дней. Если говорить точно, сто пятьдесят шесть часов.

— Один?

— Да. Мне не повезло, на Арктуре появились новые пятна, и я полностью потерял связь с «Прометеем». Со своим кораблем. Магнитные бури. Без радио нельзя вернуться. Я имею в виду Ардера. В этих зондах локатор сопряжен с радио. Он не мог вернуться без меня и не вернулся. Гимма вызывал меня. Он был прав, потому что я потом рассчитал — просто так, чтобы убить время, — какова была вероятность, что я найду Ардера с помощью радара, — я уже не помню точно, но это было что-то вроде одного к триллиону. Надеюсь, он сделал то же, что Арне Эннессон.

— Что сделал Арне Эннессон?

— Потерял фокусировку пучка. Начала падать тяга. Он еще мог удержаться на орбите, ну, скажем, сутки, идя по спирали, и в конце концов свалился бы на Арктур, поэтому он предпочел сразу войти в протуберанец. Сгорел почти на моих глазах.

— Сколько всего было пилотов, кроме вас?

— На «Прометее» пять.

— Сколько вернулось?

— Олаф Стааве и я. Я знаю, о чем вы думаете, доктор, — что это героизм. Я тоже так думал когда-то, когда читал книги о таких людях. Это неправда. Слышите, что я вам говорю? Если бы я мог, я бросил бы этого Ардера и вернулся сразу, но я не мог. Он тоже не смог бы. Ни один не смог бы. Гимма тоже.

— Почему вы так на этом… настаиваете? — спросил он тихо.

— Потому что есть разница между героизмом и необходимостью. Я сделал то, что сделал бы каждый. Доктор, чтобы это понять, нужно побывать там. Человек — это такая крохотная капелька. Какая-нибудь расфокусировка тяги или размагничение полей — начинается вибрация, и мгновенно свертывается кровь. Поймите, я говорю о дефектах, не о внешних причинах, вроде метеоров. Достаточно ничтожной дряни, какого-нибудь перегоревшего проводничка в аппаратуре связи, и готово. Если бы в этих условиях еще и люди подводили, то экспедиции были бы просто самоубийством, понимаете? — Я прикрыл глаза. — Доктор, неужели сейчас не летают? Как

это могло случиться?

— Вы бы полетели?

— Нет.

— Почему?

— Я скажу вам. Никто из нас не полетел бы, если бы знал, как там будет. Этого никто не знает. Никто из тех, кто там не побывал. Мы были горсточкой смертельно испуганных, впавших в отчаяние животных.

— Это не вяжется с тем, что вы только что говорили.

— Не вяжется. Но так было. Мы боялись. Когда я ждал Ардера, доктор, и кружил вокруг этого солнца, я навыдумывал для себя всяких людей и разговаривал с ними, говорил за них и за себя, и под конец поверил, что они рядом со мной. Каждый спасался как умел. Вы подумайте, доктор. Я сижу тут, перед вами, я нанял себе виллу, купил старый автомобиль, я хочу учиться, читать, плавать, но все, что было, — во мне. Оно во мне, это пространство, эта тишина, и то, как Вентури звал на помощь, а я, вместо того чтобы спасать его, дал полный назад.

— Почему?

— Я вел «Прометей». У Вентури забарахлил реактор. Он мог разнести нас всех. Он не разлетелся,

не разнес бы.

Может, мы сумели бы его вытянуть, но я не имел права рисковать. Тогда, с Ардером, было наоборот. Я хотел его спасать, а Гимма меня вызывал, потому что боялся, что мы оба погибнем.

— Брегг, скажите… чего вы ждали от нас? От Земли?

— Понятия не имею. Я никогда об этом не думал. Мы говорили об этом, как говорят о загробной жизни, как о рае, но представить себе этого не мог никто. Довольно, доктор. Я не хочу больше говорить об этом. Я хотел спросить вас об одном. Что такое эта… бетризация?

— Что вы о ней знаете?

Я рассказал ему. Конечно, ничего о том, от кого и при каких обстоятельствах узнал.

— Так, — сказал он. — Примерно так… в представлении среднего человека это именно так.

— А я?

— Закон делает для вас исключение, потому что бетризация взрослых небезопасна для здоровья, скорее даже опасна. Кроме того, считается — я думаю, правильно, — что вы прошли проверку… моральных качеств. И потом, вас… мало.

— Еще одно, доктор. Вы говорили о женщинах. Зачем вы мне это сказали? Может быть, я вас

задерживаю?

— Нет. Не задерживаете. Зачем сказал? Каких близких может иметь человек, Брегг? Родителей. Детей. Друзей. Женщин. Родителей или детей у вас нет. Друзей у вас быть не может.

— Почему?

— Я не имею в виду ваших товарищей, хотя не знаю, захотите ли вы все время оставаться с ними, вспоминать…

— О небо, с какой стати! Ни за что!

— Ну вот! Вы знаете две эпохи. В одной вы провели молодость, а другую познаете теперь. Если добавить эти десять лет, ваш опыт несравним с опытом любого вашего ровесника. Значит, они не могут быть вашими равноправными партнерами. Что же, среди стариков вам жить, что ли? Остаются женщины, Брегг. Только женщины.

— Скорее одна женщина, — буркнул я.

— Насчет одной теперь трудно.

— Как это?

— Мы живем в эпоху благосостояния. В переводе на язык эротических проблем это означает — беспощадность. Ни любовь, ни женщину нельзя приобрести за деньги. Материальные факторы исчезли.

— И это вы называете беспощадностью, док-

тор?

— Да. Вы, наверно, думаете — раз я заговорил о купле любви, — что речь идет о проституции, скрытой или явной. Нет. Это уже очень давняя история. Раньше женщину привлекал успех. Мужчина импонировал ей своим заработком, профессиональным мастерством, положением в обществе. В равноправном обществе все это не существует. За редкими исключениями. Если б вы, например, были реалистом…

— Я реалист.

Он усмехнулся.

— Это слово теперь имеет иное значение. Так называется актер, выступающий в реале. Вы уже были в реале?

— Нет.

— Посмотрите парочку мелодрам, и вы поймете, в чем заключаются нынешние критерии эротического выбора. Самое важное — молодость. Потому-то все так борются за нее. Морщины, седина, особенно преждевременная, вызывают почти такие же чувства, как в давние времена проказа…

— Почему?

— Вам это трудно понять. Но аргументы здравого смысла бессильны против господствующих

обычаев. Вы все еще не отдаете себе отчета в том, как много факторов, игравших раньше решающую роль в эротической сфере, исчезло. Природа не терпит пустоты: их должны были заменить другие. Возьмите хотя бы то, с чем вы настолько сжились, что перестали даже замечать исключительность этого явления, — риск. Его теперь не существует, Брегг. Мужчина не может понравиться женщине бравадой, рискованными поступками, а ведь литература, искусство, вся культура целыми веками черпала из этого источника: любовь перед лицом смерти. Орфей спускался в страну мертвых за Эвридикой. Отелло убил из любви. Трагедия Ромео и Джульетты… Теперь нет уже трагедий. Нет даже шансов на их существование. Мы ликвидировали ад страстей, и тогда оказалось, что вместе с ним исчез и рай. Все теперь тепленькое, Брегг.

— Тепленькое?..

— Да. Знаете, что делают даже самые несчастные влюбленные? Ведут себя разумно. Никаких вспышек, никакого соперничества…

— Вы… хотите сказать, что все это… исчезло? — спросил я. Впервые я ощутил какой-то суеверный страх перед этим миром.

Старик молчал.

— Доктор, это невозможно. Как же так… неужели?

— Да. Именно так. И вы должны принять это, Брегг, как воздух, как воду. Я говорил вам, что насчет одной женщины трудно. На всю жизнь почти невозможно. Средняя продолжительность связей — около семи лет. Это все же прогресс. Полвека назад она равнялась едва четырем…

— Я не хочу вас больше задерживать, доктор. Что вы мне посоветуете?

— То, о чем я уже говорил, — восстановление первоначального цвета волос… это звучит банально, понимаю. Но это важно. Мне стыдно давать вам такой совет. Не за себя. Но что же я…

— Я благодарен вам. Серьезно. Последнее. Скажите… как я выгляжу… на улице? В глазах прохожих? Что во мне такого?

— Вы иной, Брегг. Во-первых, ваши размеры. Это какая-то «Илиада». Исчезнувшие пропорции… это даже может быть некоторым шансом, но вы ведь знаете судьбу тех, которые слишком выделяются.

— Знаю.

— Вы немного великоваты… таких я не помню даже смолоду. Сейчас вы выглядите как человек очень высокий и отвратительно одетый, но это

не костюм виноват — просто вы такой уж неслыханно мускулистый. До полета тоже?

— Нет, доктор. Это все те же два g, я вам говорил.

— Возможно.

— Семь лет. Семь лет двойного ускорения. Конечно, все мускулы должны были увеличиться, брюшные, дыхательные, я знаю, как выглядит моя шея. Но иначе я бы задохнулся, как мышь. Мускулы работали, даже когда я спал. Даже во время гибернации. Все весило в два раза больше. Это все поэтому.

— Другие тоже?.. Простите, что я спрашиваю, но это уж во мне заговорил врач… Видите ли, еще не было такой длительной экспедиции…

— Я знаю. Другие? Олаф почти такой же, как я. Наверно, это зависит от скелета, я всегда был ширококостный. Ардер был выше меня. Больше двух. Да, Ардер… О чем это я говорил? Другие? Я ведь был самый молодой и поэтому легче всех адаптировался. По крайней мере Вентури так утверждал… Вы знаете работы Янссена?

— Янссена? Это же наша классика, Брегг…

— Вот как? Смешно, это был такой подвижный маленький доктор… Знаете, я выдержал у него однажды семьдесят девять g в течение полутора

секунд…

— Что?

Я улыбнулся.

— Это даже удостоверено. Но это было сто тридцать лет назад. Сейчас для меня и сорок слишком много.

— Брегг, да ведь сейчас никто и двадцати не выдержит!

— Почему? Неужели из-за этой бетризации?

Он молчал. Мне показалось, что он знает что-то такое, о чем не хочет мне сказать. Я встал.

— Брегг, — сказал он, — уж если мы об этом заговорили: будьте осторожны.

— В чем?

— Остерегайтесь себя и других. Прогресс никогда не доставался даром. Мы избавились от тысяч и тысяч опасностей, конфликтов, но за это пришлось платить. Общество стало мягче, а вы бываете… можете быть… слишком жестоким. Вы понимаете?

— Понимаю, — ответил я, вспоминая о том человеке, который смеялся в ресторане и замолчал, когда я к нему подошел.

— Доктор, — сказал я вдруг, — знаете… я встретил ночью льва. Даже двух. Почему они на меня не напали?

— Теперь нет хищников, Брегг… бетризация… Вы встретили его ночью? И что же вы сделали?

— Я его чесал под подбородком, — сказал я и показал как. — Но насчет «Илиады», доктор, это преувеличение. Я здорово испугался. Что я вам должен?

— Даже не вспоминайте об этом. И если вы когда-нибудь захотите…

— Благодарю вас.

— Но только не откладывайте слишком, — добавил он почти шепотом, когда я уже выходил. Только на лестнице я понял, что это означало: ему ведь было около девяноста лет.

Я вернулся в отель. В холле была парикмахерская. Конечно, ее обслуживал робот. Я попросил подстричь меня. Я порядочно зарос, волосы так и торчали над ушами. Больше всего поседели виски. Когда робот кончил, я решил, что теперь выгляжу менее дико. Он мелодичным голосом спросил, не покрасить ли.

— Нет, — сказал я.

— Апрекс?

— Что это?

— Против морщин.

Я заколебался. Все это было страшно глупо, но, может быть, доктор все-таки был прав?

— Хорошо, — согласился я.

Он покрыл мое лицо слоем резко пахнувшего желатина, который стянулся как маска. Потом я лежал под компрессами, радуясь, что не вижу сам себя.

Я отправился наверх; в комнате уже лежали пакеты с жидким бельем, я сбросил одежду и вошел в ванную. Там было зеркало.

М-да. Я мог испугать кого угодно. Я и не подозревал, что выгляжу как ярмарочный силач. Бугры мускулов, торс, я весь был какой-то бугристый. Когда я поднял руку, грудная мышца напряглась, и в ней раскрылся глубокий шрам шириной в ладонь. Я попытался разглядеть второй, что был возле лопатки, из-за которого меня назвали счастливчиком, — если б осколок прошел на три сантиметра левее, он раздробил бы мне позвоночник. Я стукнул себя по животу, твердому, как доска.

— Ты, скотина, — шепнул я в зеркало. Захотелось принять ванну, настоящую, без этих озонных вихрей… Утешила мысль о бассейне, который будет при вилле. Попытался надеть один из купленных нарядов, но никак не мог решиться расстаться с брюками. Поэтому натянул только белый свитер, хотя мой старый, черный,

истрепанный на локтях, нравился мне больше, и отправился в ресторан.

Почти половина столиков была свободна. Пройдя три зала, я вышел на террасу; отсюда открывался вид на большие бульвары с нескончаемыми потоками глидеров; под облаками, как горный массив, поблекший в воздушной дымке, возвышался Терминал.

Я решил заказать обед.

— Что угодно? — Робот пытался вручить мне меню.

— Все равно, — ответил я. — Обычный обед.

Только начав есть, я обратил внимание на то, что столики вокруг меня пустуют. Я совершенно бессознательно искал уединения. Я даже не подозревал об этом. Я не замечал, что ем. Уверенность в том, что я все хорошо придумал, покинула меня. Отпуск… как будто я собирался сам себя вознаградить, если уж никто иной об этом не позаботился. Бесшумно подошел официант.

— Вы Брегг, не так ли?

— Да.

— У вас гость, в вашем номере.

— Гость?

Я сразу подумал о Наис. Допил темный пенистый напиток и встал, ощущая спиной провожа-

ющие меня взгляды. Неплохо было бы отпилить от себя хотя бы десяток сантиметров. В номере ждала молодая женщина, которую я никогда раньше не видел. Серое пушистое платье, алая фантасмагория вокруг плеч.

— Я из Адапта, — сказала она, — я разговаривала сегодня с вами.

— Ах, это были вы?

Я слегка насторожился. Что им от меня опять нужно? Она присела. Я тоже медленно опустился в кресло.

— Как вы себя чувствуете?

— Великолепно. Сегодня я был у врача. Он меня осмотрел. Вес в порядке. Я снял виллу, хочу немного почитать.

— Очень разумно. С этой точки зрения Клавестра — великолепное место. Там горы, спокойствие…

Она знала, что вилла в Клавестре. Следили они за мной, что ли? Я не шелохнулся, ожидая продолжения.

— Я принесла вам… это от нас.

Она показала небольшой пакет, лежавший на столе.

— Это самая последняя наша новинка, понимаете, — говорила она с несколько искусственным

оживлением. — Ложась спать, вы включаете аппарат… и за несколько ночей самым простейшим способом узнаете без всяких усилий массу полезных вещей…

— Ах вот как! Замечательно, — сказал я.

Она улыбнулась, я тоже — вежливый ученик.

— Вы психолог?

— Да, вы угадали.

Она была в нерешительности. Я видел, что она хочет что-то сказать.

— Я слушаю…

— Вы на меня не обидитесь?

— С чего бы мне на вас обижаться?

— Потому что… видите ли… вы одеваетесь несколько…

— Знаю. Но мне нравятся эти брюки. Со временем, пожалуй…

— Ах, дело совсем не в брюках. Свитер…

— Свитер? — удивился я. — Мне его сегодня сделали, это ведь, кажется, последний крик моды, разве нет?

— Да-да. Только вы его напрасно так надули… вы разрешите?

— Прошу вас, — ответил я совсем тихо.

Она наклонилась в кресле, вытянутыми пальцами легко ударила меня в грудь и слабо

вскрикнула:

— Что у вас там?

— Ничего, кроме меня самого, — ответил я, криво улыбаясь.

Она потерла ушибленные пальцы и встала. Злорадное удовлетворение вдруг покинуло меня, мое спокойствие стало теперь просто холодным.

— Ничего, садитесь.

— Но… я очень прошу вас извинить… я…

— Чепуха. И давно вы работаете в Адапте?

— Второй год…

— Вот как — и первый пациент? — Я показал на себя пальцем.

Она слегка покраснела.

— Разрешите вас спросить?

Ее веки затрепетали. Может быть, она воображала, что я собираюсь условиться с ней о свидании?

— Конечно…

— Как это делается, что на каждом горизонте города можно видеть небо?

Она оживилась.

— Это очень просто. Телевидение — так это раньше называлось. На потолках расположены экраны — они передают то, что над землей, — вид неба, тучи…

— Но ведь эти горизонты не так уж высоки, — сказал я, — а там стоят даже сорокаэтажные дома…

— Это иллюзия, — улыбнулась она, — только часть домов настоящая, остальные этажи продолжаются на экранах. Понимаете?

— Понимаю как, но не понимаю зачем?

— Ну, чтобы ни на одном этаже жители не чувствовали себя обиженными. Ни в чем…

— Ага, — сказал я. — Да, это остроумно… и вот еще что. Я собираюсь отправиться за книгами. Посоветуйте мне что-нибудь из вашей области. Какие-нибудь… такие… компилятивные, обзорные…

— Вы хотите изучать психологию? — удивилась она.

— Нет, но я хочу знать, что вы сделали за это время…

— Я бы вам посоветовала Майссена… — сказала она.

— Что это такое?

— Школьный учебник.

— Я бы предпочел что-нибудь более серьезное. Справочники, монографии… лучше всего получать из первых рук…

— Это, вероятно, будет слишком… трудно…

Она снисходительно улыбнулась.

— А может быть, и нет. В чем состоит трудность?

— Психология очень математизировалась…

— Я тоже. До того места, на котором оставил вас сто лет назад. Что, требуется больше?

— Но ведь вы же не математик?

— По специальности нет, но я изучал математику. На «Прометее». Там, видите ли, было очень много… свободного времени.

Удивленная, сбитая с толку, она уже ничего больше не говорила. Выписала мне на карточку ряд названий. Когда она вышла, я вернулся к столу и тяжело сел. Даже она, сотрудница Адапта… Математика? Откуда? Дикарь, неандерталец! «Ненавижу их, — подумал я, — ненавижу, ненавижу». Я даже не сознавал, о ком думаю. Обо всех сразу. Да, обо всех. Меня обманули. Отправили меня, сами не зная, что творят, рассчитывали, что я не вернусь, как Вентури, Ардер, Томас, но я вернулся, чтобы они меня боялись, вернулся, чтобы быть угрызением совести, которому никто не рад. «Я не нужен», — подумал я. Если б я мог плакать. Ардер умел. Он говорил, что не нужно стыдиться слез. Я, наверное, солгал в кабинете доктора. Я не сказал об этом никому, никогда, но я

не был уверен, что сделал бы это для кого-нибудь. Для Олафа, потом. Но я не был в этом абсолютно уверен. Ардер! Как мы верили им и все время чувствовали за собой Землю, верящую в нас, думающую о нас, живую. Никто не говорил об этом, зачем? Разве говорят о том, что очевидно?

Я встал. Я не мог сидеть. Я ходил из угла в угол.

Довольно. Я открыл дверь ванной, но ведь там не было даже воды, чтобы плеснуть себе в лицо. И что это за мысли, в конце концов! Чистейшая истерия!

Я вернулся в номер и начал упаковывать вещи.

III

Все послеобеденное время я провел в книжном магазине. Книг не было. Их не печатали уже без малого полсотни лет. А я так истосковался по ним после микрофильмов, составлявших библиотеку на «Прометее»! Увы! Уже нельзя было рыскать по полкам, взвешивать в руке тома, ощущать их многообещающую тяжесть. Книжный магазин походил скорее на лабораторию электроники. Книги — кристаллики с запечатленной информацией. Читали их с помощью оптона. Оптон напоминал настоящую книгу, только с одной-единственной страницей между обложками. От каждого прикосновения на ней появлялась следующая страница текста. Но оптоны употреблялись редко, как сообщил мне продавец-робот. Люди предпочитали лектоны — те читали вслух, их можно было отрегулировать на любой тембр голоса, произвольный темп и модуляцию. Только научные труды очень узкой специализации еще печатали на пластике, имитирующем бумагу. Так что все мои покупки, хотя их было чуть ли не триста названий, уместились в одном кармане.

Горсточка кристаллических зерен — так это выглядело.

Я выбрал много работ по социологии, истории, немного статистики, демографии и то, что девушка из Адапта посоветовала по психологии. Несколько солидных математических работ, солидных, конечно, по существу, а не по размеру. Робот, обслуживавший меня, заменял энциклопедию благодаря тому, что имел, по его словам, непосредственное подключение к оригиналам всех существующих на Земле книг. В основном в книжной лавке книги находились лишь в одном экземпляре, и по желанию покупателя содержание требуемого произведения переносилось на кристаллик.

Оригиналы — кристоматрицы — вообще нельзя было увидеть; они хранились за стальными плитами, покрытыми бледно-голубой эмалью. Таким образом, книгу как бы печатали каждый раз, когда ее кто-нибудь требовал. Исчезла проблема тиражей. Это, конечно, было огромным достижением, но мне все-таки жаль было книг. Разузнав, что еще существуют антикварiаты с бумажными книгами, я разыскал один из них. Меня постигло разочарование: научной литературы там почти не было. Развлекательные

книжки, немного детских, несколько подшивок старых журналов.

Я купил (платить нужно было только за старые книги) несколько сказок сорокалетней давности, чтобы понять, что сейчас считают сказкой, и отправился в спортивный магазин. Здесь мое разочарование достигло предела. Легкая атлетика существовала в каком-то карликовом виде. Бег, толкание, прыжки, плавание и почти никаких элементов атлетической борьбы. Бокса вообще не было, а то, что называлось классической борьбой, было попросту смешным; какие-то тычки вместо порядочного боя. В проекционном зале магазина я посмотрел одну встречу на первенство мира и думал, что лопну от злости. Временами я хохотал как сумасшедший. Расспрашивал о вольной американской борьбе, о дзюдо, о джиу-джитсу, но никто даже не знал, что это такое. Понятно, ведь даже футбол скончался, не оставив потомства, ибо был игрой, в которой возможны острые схватки и травмы. Хоккей был, но какой! Играли в таких надутых комбинезонах, что игроки сами походили на огромные шары. Две такие команды, сталкивающиеся одна с другой, как резиновые мячи, выглядели потешно, но ведь это же был фарс, а не матч! Прыжки в воду, о да, но только с

четырехметровой высоты. Я сразу же вспомнил о моем (моем!) бассейне и приобрел складной трамплин, чтобы надстроить тот, который будет в Клавестре. Все это измельчание было следствием бетризации. Я не жалел, что исчезли бои быков, петухов и прочие кровавые зрелища; профессиональным боксом я тоже никогда не восторгался. Но эта тепленькая кашица, оставшаяся от настоящего спорта, тоже ни в малейшей мере меня не привлекала. Только в туризме вторжение техники в спорт казалось оправданным. Особенно распространен был туризм подводный. Я увидел всевозможные образцы аквалангов, маленькие электроторпеды для путешествий над дном озер, глиссеры, гидраты, двигающиеся на подушке сжатого воздуха, водные микроглидеры, — и каждая машина снабжена была специальным устройством, предохраняющим от несчастных случаев.

Соревнования, даже самые популярные, ни в коей мере не были спортивными; разумеется, никаких лошадей, никаких автомобилей — в гонке участвовали автоматически управляемые машины, на которые можно было делать ставки. Традиционные первенства и чемпионаты значительно поблекли. Мне объяснили, что границы

физических возможностей человека уже достигнуты и устанавливать новые рекорды может только человек, по силе или скорости уже ненормальный, какое-нибудь чудовище. Рассудком я понимал, что это так; впрочем, то, что выжившие после гекатомбы остатки атлетики широко распространились, было отрадно — и все-таки после этого трехчасового осмотра я вышел из магазина в полном смятении.

Отобранные гимнастические снаряды я попросил отправить в Клавестру. Подумав, отказался от глиссера; хотел было купить яхту, но парусных не было — настоящих, с оснасткой; были только какие-то жалкие корыта, до такой степени устойчивые, что я просто не понимал, какое удовольствие может доставлять подобный парусный спорт.

Когда я возвращался в отель, был уже вечер. С запада тянулись пушистые заалевшие облака, солнце заходило, появился молодой месяц, а в зените сверкал второй — какой-нибудь большой искусственный спутник. Над домами в вышине суетились летающие машины. Толпы прохожих поредели, зато стало больше глидеров, и появились, бросая полосы света на дорогу, те самые щелеобразные осветители, значение которых все

еще оставалось для меня непонятным. Я возвращался другой дорогой и набрел на большой сад. Сначала мне даже показалось, что это Терминал, но тот, со стеклянной горой порта, маячил далеко в северной, возвышенной части города.

Вид был в общем необычен; когда все вокруг уже скрыла темнота, рассекаемая лишь уличными огнями, верхние этажи Терминала сверкали, как заснеженные альпийские вершины.

В парке было людно. Множество новых разновидностей деревьев, особенно пальм, цветущие кактусы без иголок, в дальнем уголке парка мне встретился старый каштан, которому было, наверно, лет двести. Трое таких, как я, не смогли бы охватить его. Я присел на скамеечку и засмотрелся в небо. Какими мирными, какими безобидными казались звездочки, помигивавшие и дрожащие в невидимых струях атмосферы, защищавшей от них Землю. В первый раз за столько лет я подумал о них — «звездочки». ТАМ никто не отважился бы так сказать, его приняли бы за сумасшедшего. Звездочки, да, конечно, прожорливые звездочки. Вдали над растворившимися в темноте деревьями взвился фейерверк, и я с ослепительной ясностью увидел Арктур, горы огня, над которыми летел, стуча зубами

от холода, а иней на аппаратуре охлаждения таял и, красный от ржавчины, стекал по моему комбинезону. Я выхватывал пробы коронососом, вслушиваясь в свист моторов, не спадают ли обороты, потому что секундная авария, перебой обратили бы защитную оболочку, аппаратуру и меня в неуловимое облачко пара. Капля, упавшая на раскаленную плиту, не исчезает так быстро, как испаряется тогда человек.

Каштан уже почти отцвел. Я не любил аромата его цветов, но сейчас он напоминал мне что-то очень далекое, забытое. Над кустами все еще переливался блеск бенгальских огней, доносились звуки заглушавших друг друга оркестров, и каждую минуту возвращался, приносимый ветром, дружный вопль участников какого-то зрелища, наверно, американских гор. Мой уголок оставался почти безлюдным.

Внезапно из темной аллеи появилась черная высокая фигура. Листья уже казались серыми, и лицо этого человека я увидел лишь тогда, когда он, необычайно медленно, крохотными шажками, почти не отрывая ног от земли, приблизился ко мне и остановился в нескольких шагах. Его руки прятались в каких-то утолщенных раструбах, откуда выходили два тонких стержня, оканчивав-

шихся черными грушевидными расширениями. Он опирался на них, как человек, необычайно слабый. Он не смотрел на меня, не смотрел ни на что — смех, громкие крики, музыка, взрывы фейерверка, казалось, вообще не существуют для него. Так он постоял с минуту, тяжело дыша, и в свете повторяющихся фейерверков его лицо показалось мне таким древним, словно годы стерли с него всякое выражение, оставив лишь кожу да кости. Когда он уже собрался тронуться дальше, выбросив вперед эти странные груши или протезы, один из них скользнул, я вскочил со скамейки, чтобы поддержать его, но он сам удержался. Он был на голову ниже меня, но все-таки очень высокий для нынешних людей; его блестящие глаза смотрели на меня.

— Простите, — пробормотал я и хотел отойти, но остановился: в его глазах был какой-то приказ.

— Я вас уже видел где-то. Но где? — спросил он неожиданно сильным голосом.

— Сомневаюсь, — ответил я, покачивая головой. — Я только вчера вернулся… из очень далекой экспедиции.

— Откуда?

— Фомальгаут.

Его глаза сверкнули.

— Ардер! Том Ардер!!

— Нет, — сказал я. — Но я был с ним.

— А он?

— Погиб.

Он задохнулся:

— Помогите… мне… сесть…

Я обхватил его за плечи. Под черным скользким материалом прощупывались одни только кости. Медленно опустил его на скамейку. Стал рядом.

— Сядьте… тоже.

Я сел. Он все еще тяжело дышал, не открывая глаз.

— Это ничего… волнение, — шепнул он. Потом с трудом поднял веки и просто сказал: — Я Ремер.

У меня перехватило дыхание:

— Как… Вы… Вы? Сколько же…

— Сто тридцать четыре, — сухо ответил он. — Тогда мне было семь.

Я помнил его. Он приехал к нам со своим отцом, феноменальным математиком, который был ассистентом Геонидеса — создателя теории нашего полета. Ардер тогда показал ребенку наш большой испытательный зал, центрифугу — таким он и остался у меня в памяти: подвижный, словно искра, семилетний мальчонка, с черными отцов-

скими глазами; Ардер поднял его на руки, чтобы малыш мог вблизи рассмотреть гравикамеру, в которой сидел я.

Мы молчали. В этой встрече было что-то противоестественное. Сквозь темноту я вглядывался с какой-то ненасытной, болезненной жадностью в это невероятно старое лицо, и к горлу у меня подкатывался комок. Я пытался достать из кармана папиросу, но не мог ухватить ее, так дрожали руки.

— Что произошло с Ардером? — спросил он.

Я рассказал.

— Вы не нашли ничего?

— Нет. Там не находят… понимаете.

— Я принял вас за него…

— Понимаю. Рост и вообще…

— Да. Сколько вам теперь лет? Биологических…

— Сорок.

— Я мог бы… — прошептал он.

Я понял.

— Не жалейте, — твердо произнес я. — Не жалейте об этом. Не жалейте ни о чем, понимаете?

Он впервые перевел взгляд на меня.

— Почему?

— Потому что мне нечего тут делать, — ответил

я. — Я никому не нужен. И мне… никто.

Он словно не слышал меня.

— Как вас зовут?

— Брегг. Эл Брегг.

— Брегг, — повторил он. — Брегг… нет. Не помню. Вы там были?

— Да. В Аппрену, когда ваш отец привез поправки, полученные Геонидесом за месяц до старта, выяснилось, что показатели рефракции в облаках космической пыли были занижены… Не знаю, говорит ли вам это что-нибудь? — нерешительно остановился я.

— Говорит. Еще бы, — ответил он с какой-то особенной интонацией. — Мой отец. Еще бы. В Аппрену? Что вы там делали? Где были?

— В гравитационной камере, у Янссена. Вы там были тогда, вас привел Ардер. Вы стояли наверху, на мостике, и смотрели, как мне дают сорок g. Когда я вылез, у меня из носа текла кровь… Вы дали мне свой платок…

— Ах! Так это были вы!

— Да.

— Мне казалось, что человек в камере был… темноволосый.

— Да. Они не светлые. Они поседели. Сейчас плохо видно.

И снова молчание, еще дольше, чем прежде.

— Вы, конечно, профессор? — спросил я, только ради того, чтобы прервать это молчание.

— Был. Теперь я… никто. Уже двадцать три года. Никто. — И еще раз, очень тихо, повторил: — Никто.

— Я покупал сегодня книги… среди них была топология Ремера. Это вы или ваш отец?

— Я. Вы разве математик?

Он взглянул на меня как бы с новым интересом.

— Нет, — ответил я. — Но… у меня было много времени… там. Каждый делал что хотел. Мне… помогла математика.

— Что вы хотите этим сказать?

— У нас была куча микрофильмов, рассказы, романы — все, что душе угодно. Вы же знаете, мы взяли триста тысяч наименований. Ваш отец помогал Ардеру комплектовать раздел математики…

— Знаю…

— Сначала мы смотрели на это как на развлечение. Чтобы убить время. Но уже несколько месяцев спустя, когда связь с Землей полностью прервалась и мы повисли вот так — совершенно неподвижно по отношению к звездам, — знаете,

читать, как какой-то Петер нервно курил папиросу и мучился вопросом, придет ли Люси, и как она вошла, и на ней были перчатки… Сначала смеешься совершенно идиотским смехом, а потом просто злость разбирает. В общем, никто к этому потом даже не прикасался.

— И тогда — математика?

— Нет. Не сразу. Сначала я взялся за языки, понимаете, и я выдержал до конца, хотя знал, что это почти бесполезно, потому что, когда мы вернемся, они будут всего лишь архаическими диалектами. Но Гимма и особенно Турбер толкали меня к физике. Это, мол, может пригодиться. Я взялся за нее вместе с Ардером и Олафом Стааве, только мы трое не были учеными…

— Но ведь у вас была степень.

— Да, магистерская по теории информации, космодромии и диплом инженера-ядерщика, но это все было профессиональное, не теоретическое. Вы же знаете, как инженер владеет математикой. Да, так, значит, — физика. Но я хотел иметь еще что-нибудь — для себя. И вот — чистая математика. У меня никогда не было математических способностей. Ни малейших. Ничего, кроме упрямства.

— Да, — тихо сказал он. — Это было необходи-

мо, чтобы… полететь.

— Точнее, чтобы попасть в состав экспедиции, — поправил я. — И знаете, почему именно математика? Я только там понял. Потому что она выше всего. Работы Абеля и Кронекера сегодня так же хороши, как четыреста лет назад, и так будет всегда. Возникают новые пути, но и старые ведут дальше. Они не зарастают. Там… там — вечность. Только математика не боится ее. Там я понял, как она беспредельна. И незыблема. Другого такого нет. И то, что она мне давалась тяжело, тоже было хорошо. Я бился над нею и, когда не мог заснуть, повторял пройденный днем материал…

— Интересно, — сказал он. Но в его голосе звучало равнодушие. Я не был уверен, слушает ли он меня.

В глубине парка пролетали огненные столбы, вспыхивало красное и зеленое зарево, сопровождаемое радостным хором восклицаний. Здесь, где мы сидели, под деревьями, было темно. Я замолчал. Но эта тишина была невыносима.

— Это было для меня как самоутверждение, — сказал я. — Теория множеств… то, что Мирea и Аверин сделали с наследством Кантора. Вы знаете. Бесконечные, сверхбесконечные величины,

непрерывный континуум, мощность... великолепно. Часы, которые я провел над этим, я помню так, словно это было вчера.

— Это не так абстрактно, как вы думаете, — проворчал он. Значит, слушал все же. — Вы, наверно, не слышали о работах Игалли?

— Нет, что это?

— Теория разрывного антиполя.

— Я ничего не знаю об антиполе. Что это такое?

— Ретроаннигиляция. Из этого возникла парастатика.

— Я даже не слышал таких терминов.

— Ну, конечно, ведь они возникли шестьдесят лет назад. Но в общем это был только подход к гравитологии.

— Вижу, мне придется попотеть, — сказал я. — Гравитология — по-видимому, теория гравитации, да?

— Больше. Это можно выразить только математически. Вы прочитали Аппиано и Фрума?

— Да.

— Ну, тогда вам будет просто. Развитие теории метагенов в n-мерной конфигурационно-выраженной системе.

— Как вы сказали? Но ведь Скрябин доказал,

что не существует никаких метагенов, кроме вариационных?

— Да. Очень изящное доказательство. Но, видите ли, тут все разрывное.

— Не может быть! Но ведь… ведь это должно было открыть целый мир!

— Да, — сухо согласился он.

— Мне вспоминается одна работа Маниковского… — начал я.

— О, это весьма отдаленно. В лучшем случае… сходное направление.

— Сколько времени потребуется, чтобы пройти все, что вы тут сделали? — спросил я.

Он помолчал.

— Зачем вам?

Я не знал, что ответить.

— Вы больше не будете летать?

— Нет, — сказал я. — Я слишком стар. Я бы не выдержал таких ускорений… и вообще не полетел бы, вот и все.

Теперь мы замолчали основательно. Неожиданный подъем, с которым я говорил о математике, внезапно исчез, и я сидел возле него, ощущая тяжесть своего тела, его ненужную громадность. Кроме математики, нам не о чем было говорить, и мы оба об этом знали. Мне вдруг показалось,

что волнение, с которым я рассказывал о благословенной роли математики в полете, было фальшивым. Я сам себя обманывал рассказом о скромном, трудолюбивом героизме пилота, который в провалах туманностей занимался изучением математических бесконечностей. Я заврался. В конце концов чем это было? Разве потерпевший кораблекрушение человек, который целые месяцы мучился в море и, чтобы не сойти с ума, тысячи раз пересчитывал количество древесных волокон, из которых состоит его плот, — разве он мог чем-нибудь похвастать, выйдя на берег? Чем? Тем, что он оказался достаточно сильным, чтобы выдержать? Ну и что из этого? Кого это интересовало? Кому интересно, чем я забивал свой несчастный мозг на протяжении десяти лет, и почему это важнее, чем то, чем я набивал свои кишки? «Пора прекратить эту игру в скромного героя, — подумал я. — Я смогу себе это позволить, когда буду выглядеть так, как он сейчас. Нужно думать и о будущем».

— Помогите мне встать, — прошептал он.

Я проводил его до глидера, стоявшего на улице. Мы шли очень медленно. В тех местах, где аллея была освещена, нас провожали взглядом. Прежде чем сесть в глидер, он повернулся, чтобы

попрощаться со мной. Ни у него, ни у меня в эту минуту не нашлось слов. Он сделал непонятный жест рукой, из которой, как шпага, торчал один из стержней, кивнул, сел, и черная машина бесшумно тронулась. Она отплывала, а я стоял, безвольно опустив руки, пока черный глидер не исчез в потоке других машин. Потом сунул руки в карманы и побрел по аллее, не находя ответа на вопрос, кто же из нас сделал лучший выбор.

Хорошо, что от города, который я некогда покинул, не осталось камня на камне. Как будто я жил тогда на другой Земле, среди других людей; то началось и кончилось раз навсегда, а это было новое. Никаких остатков, никаких руин, которые ставили бы под сомнение мой биологический возраст; я мог позволить себе забыть о его земном эквиваленте, таком противоестественном — и вот невероятный случай сталкивает меня с человеком, которого я помню маленьким ребенком; все время, сидя рядом с ним, глядя на его высохшие, как у мумии, руки, на его лицо, я чувствовал себя виноватым и знал, что он об этом догадывается. «Какой невероятный случай», — повторял я снова и снова почти бессмысленно, как вдруг понял, что его могло привести на это место то же, что и меня: ведь там рос каштан, который был

старше нас обоих.

Я не знал еще, как далеко удалось им передвинуть границу жизни, но понимал, что возраст Ремера наверняка был исключительным; он мог быть последним или одним из последних людей своего поколения. «Если бы я не полетел, я был бы мертв уже!» — подумалось мне, и вдруг впервые передо мной обнажилась вторая, неожиданная сторона этого полета, он предстал передо мной как хитрость, как бесчеловечный обман по отношению к другим. Я шел сам не зная куда, вокруг шумела толпа, поток идущих увлекал и толкал меня — и внезапно я остановился, словно проснувшись.

Вокруг царил неописуемый хаос; в сопровождении бессвязных криков, под звуки музыки залпами взлетали в небо фейерверки, повисая в вышине разноцветными букетами; пылающие шары осыпались на кроны стоявших вокруг деревьев; все это то и дело перекрывалось многоголосым оглушительным криком и хохотом; казалось, совсем рядом находятся американские горы, но напрасно я искал их глазами. В глубине парка возвышался высокий дом с башенками и крепостными стенами, словно перенесенный из Средневековья укрепленный замок; холодные

языки неонового пламени, лижущие его крышу, ежеминутно складывались в слова ДВОРЕЦ МЕРЛИНА. Толпа, принесшая меня сюда, направлялась к пурпурной удивительного вида стене павильона; она представляла собой как бы человеческое лицо; окна служили пылающими глазами, а огромная, зубастая, перекошенная пасть дверей каждый раз открывалась, чтобы под веселый смех и гомон толпы поглотить очередную порцию людей; каждый раз она проглатывала одинаковое количество — шесть человек. Сначала я решил было выбраться из толпы, отойти в сторонку, но это было совсем не легко; к тому же идти было некуда, и мне подумалось, что из всех возможных способов убить остаток вечера этот, неизвестный, вряд ли окажется наихудшим. Одиночек вроде меня здесь почти не было — преобладали парочки, парни и девчонки, женщины и мужчины, их расставляли по двое, и, когда пришла моя очередь нырнуть в белоснежный блеск огромных зубов и разверстый мрачный пурпур таинственной глотки, я оказался в неловком положении, не зная, можно ли мне присоединиться к уже образовавшейся шестерке. В последнюю минуту меня выручила женщина, стоявшая с молодым, черноволосым

человеком, одетым, пожалуй, экстравагантнее остальных; она схватила меня за руку и бесцеремонно потащила за собой.

Сделалось почти совсем темно. Я ощущал теплую, сильную руку незнакомки. Пол поплыл, стало светлее, и мы очутились в просторном гроте. Несколько шагов пришлось пройти в гору, по каменной осыпи, между потрескавшимися каменными столбами. Незнакомка отпустила мою руку — и мы по очереди наклонились, проходя под низкими сводами пещеры.

Хоть я и приготовился к неожиданностям, но был изумлен не на шутку. Мы оказались на широком песчаном берегу огромной реки, под палящими лучами тропического солнца. На противоположном, далеком берегу к реке вплотную подступали джунгли.

В неподвижных затонах замерли лодки — точнее, пироги, выдолбленные из древесных стволов; на фоне буро-зеленого потока, лениво катившего за ними, застыли в величественных позах огромные негры, обнаженные, лоснящиеся от масла, покрытые известково-белой татуировкой; каждый опирался лопатообразным веслом о борт лодки.

Одна уже переполненная пирога как раз от-

плывала; чернокожая команда ударами весел и пронзительными воплями разгоняла наполовину скрытых в иле, похожих на сучковатые колоды крокодилов, те поворачивались и, бессильно щелкая зубастыми челюстями, сползали в глубокую воду.

Нас, спускавшихся по крутому берегу, было семеро; первая четверка заняла места в следующей лодке, негры уперли весла в обрывистый берег и с заметным усилием оттолкнули ненадежный кораблик, так что его даже развернуло; я немного отстал, со мной была уже только пара, которой я был обязан своим решением и предстоявшей прогулкой. Показалась вторая лодка, метров девяти длиной. Черные гребцы окликнули нас и, преодолевая течение, искусно причалили к берегу. Мы прыгнули один за другим в ветхое суденышко, подняв пыль, пахнущую тлеющим деревом. Молодой человек в фантастическом наряде, изображавшем тигриную шкуру — верхняя половина головы хищника, свисающая на спину, могла, вероятно, служить капюшоном, — помог сесть своей спутнице. Я занял место напротив, и вот мы уже плывем, и у меня уже не было никакой уверенности в том, что несколько минут назад я еще находился в парке, во мраке ночи.

Огромный негр, стоявший на остром носу лодки, время от времени издавал дикий крик, два ряда сверкающих спин склонялись, весла резко и стремительно входили в воду. И вот, наконец, лодка вошла в главное русло.

Я чувствовал тяжелый горячий запах воды, тины, гниющей зелени, проплывавшей рядом, за бортами, которые возвышались над водой не более чем на ладонь. Берег удалялся. Мы плыли мимо серо-зеленых, словно выгоревших зарослей кустарника, с песчаных, раскаленных солнцем отмелей иногда плюхались в воду, подобно ожившим стволам, крокодилы, один довольно долго плыл за кормой, сначала поднимая свою продолговатую голову над водой, потом вода начала заливать его вытаращенные глаза, и вот уже один только нос, темный, как речной голыш, торопливо разрезает бурую воду. Из-за мерно сгибавшихся спин гребцов иногда можно было увидеть вскипавшие буруны — река обходила затопленные препятствия, — тогда негр, стоявший на носу, издавал иной, хриплый звук, весла с одной стороны начинали бить чаще, и лодка поворачивала; я не уловил той минуты, когда глухие, грудные восклицания негров начали слагаться в невыразимо тоскливую, все время

повторяющуюся песню, что-то вроде гневного крика, перерастающего в жалобу, которую завершал дружный всплеск рассеченной веслами воды.

Так мы плыли по огромной реке, среди серо-зеленой степи, словно действительно перенесенные в сердце Африки. Стена джунглей ушла далеко и исчезла за раскаленной стеной знойного воздуха, черный рулевой ускорял темп. Вдали в степи паслись антилопы, один раз в облаках пыли тяжелой медленной рысью прошло стадо жирафов.

Внезапно я почувствовал на себе взгляд сидевшей напротив женщины и посмотрел на нее.

Ее красота поразила меня. Еще раньше я заметил, что она красива, но мысль эта была мимолетна, и я тут же забыл об этом. Теперь она была слишком близко, чтобы не заметить того, что она была не просто красива, она была прекрасна. Темные, с медным отливом волосы, белоснежное, неизъяснимо спокойное лицо и неподвижные темные губы. Она очаровала меня. Не как женщина — скорее как эта застывшая под солнцем бескрайняя степь. Ее красота была именно тем совершенством, которого я всегда немного побаивался. Может быть, оттого, что я слишком

мало прожил на Земле и слишком много думал о ней, во всяком случае, передо мной была одна из тех женщин, которые кажутся слепленными из иной глины, чем простые смертные, хотя это только красивая ложь, всего лишь определенная конфигурация лица, — но кто об этом думает, когда смотрит? Она улыбнулась одними глазами, ее губы сохраняли выражение презрительного равнодушия. Это относилось не ко мне, скорее к ее собственным мыслям. Ее спутник сидел на скамье, заклиненной в выдолбленном углублении ствола, левая рука безвольно свисала через борт, так что кончики пальцев погружены были в воду, но он не смотрел ни на воду, ни на проходящую мимо панораму дикой африканской степи. Он просто сидел, как сидят в приемной зубного врача, раз навсегда пресыщенный и равнодушный.

Перед нами появились рассыпанные по всей поверхности реки серые камни. Рулевой завопил, как будто выкрикивал заклинания, удивительно сильным, пронзительным голосом. Негры яростно работали веслами, и лодка помчалась мимо этих камней, оказавшихся ныряющими бегемотами; стадо толстокожих осталось позади. Но сквозь ритмичный плеск весел, сквозь хриплую, тяжелую песню гребцов послышался идущий

неизвестно откуда глухой шум. Далеко вперед, там, где река исчезала среди все более крутых берегов, появились две наклонившиеся друг к другу гигантские дрожащие радуги.

— Аге! Аннаи! Аннаи! Агее!! — рулевой рычал, как обезумевший. Негры зачастили веслами, лодка понеслась, как на крыльях, женщина протянула руку и, не глядя, начала искать ладонь своего спутника.

Рулевой визжал. Пирога шла с поразительной скоростью. Нос задрался, мы скользнули с хребта огромной, словно застывшей, волны, и из-за спин склонившихся в сумасшедшем темпе гребцов я увидел громадный речной водоворот: внезапно потемневшая вода валилась в ворота скал. Поток раздваивался, нас несло вправо, где вода вскипала белыми от пены горбами, а левый рукав реки исчезал, как обрезанный, и только чудовищный грохот и столбы водяной пыли говорили о том, что там водопад. Мы обошли его, войдя в правый рукав, но и тут было неспокойно. Пирога, как необъезженный конь, бешено прыгала среди черных скал, над которыми стояла стена рычащей пены, берега сближались. Негры на правом борту извлекли весла из воды, уперлись грудью в их тупые рукоятки, и ужасным толчком, силу которого

можно было понять по тому звуку, что вырвался из груди гребцов, пирога отпрыгнула от скалы и попала в главное течение. Нос взметнулся вверх, стоявший на нем рулевой чудом удержал равновесие, меня пробрал мороз при виде взвивавшихся из-за каменных глыб водных вихрей; пирога, подрагивая, как пружина, полетела вниз. Спуск был сумасшедший, по обеим сторонам проносились черные скалы, увенчанные развевающимися гривами пены, пирога еще и еще раз оттолкнулась от них и, как стрела, пущенная по белой пене, вошла в самую быстрину. Я поднял глаза и увидел высоко над собой растопыренные кроны сикомор; среди веток резвились маленькие обезьянки. Толчок был такой мощный, что мне пришлось схватиться за борт; нас швырнуло, и под грохот воды, зачерпнув обеими бортами, так что мгновенно все промокли до нитки, мы пошли еще круче — это уже было падение. Береговые скалы улетали ввысь, словно уродливые каменные птицы с пенной оторочкой у концов острых крыльев. Грохот, грохот! Выпрямившиеся силуэты гребцов на фоне неба — будто стражи катастрофы. Мы летели прямо на скальный столб, разделявший теснину надвое, впереди вскипал черный водоворот, мы летели на скалу, я услы-

шал крик женщины.

Негры боролись яростно, отчаянно, рулевой вскинул руки, я видел открытый в крике рот, но не слышал голоса. Пирога шла наискось, остановилась на мгновение, потом, словно и не было яростных взмахов весел, повернулась и пошла кормой вперед, все быстрее и быстрее.

В мгновение ока обе шеренги негров исчезли, бросив весла: они, не раздумывая, прыгнули в воду по обе стороны пироги. Рулевой последним отважился на смертельный прыжок.

Женщина еще раз вскрикнула; ее спутник уперся ногами в противоположный борт, она прижалась к нему; я смотрел в настоящем восторге на невиданную картину обваливающихся водяных гор, гремящих радуг; лодка ударилась обо что-то; крик, пронзительный крик…

Поперек мчащейся вниз напролом воды, уносившей нас, над самой ее поверхностью лежал ствол, лесной великан, свалившийся сверху и образовавший нечто вроде мостика. Мои спутники упали на дно лодки. Я колебался — сделать ли мне то же самое. Я знал, что все это: негры, поток, африканский водопад — лишь необыкновенная иллюзия, но сидеть неподвижно, когда нос лодки уже скользнул под залитый водой смолистый

ствол огромного дерева, было выше моих сил. Я молниеносно упал, но одновременно вытянул руку, и она прошла сквозь ствол, не коснувшись его, я не почувствовал ничего, как и ожидал, и, несмотря на это, впечатление, будто мы чудом избегли катастрофы, было полным.

Но это еще не был конец; на следующем гребне пирога встала дыбом, гигантская волна обрушилась на нас, повернула, и несколько мгновений лодка шла по адскому кругу, метя в самый центр водоворота. Если женщина и кричала, я этого не слышал, я не услышал бы ничего; треск, грохот лопающихся бортов я почувствовал телом, уши были словно заткнуты ревом водопада, пирога, с нечеловеческой силой подброшенная вверх, заклинилась между скал. Те двое выпрыгнули на заливаемую пеной скалу, вскарабкались вверх, я за ними.

Мы очутились на обломке скалы, посреди двух рукавов побелевшей кипящей воды. Правый берег был довольно далеко, к левому было переброшено нечто вроде воздушного мостика, прямо над волнами, обрушивавшимися в бездну дьявольского котла. В воздухе стояла ледяная изморось водяных брызг, этот тоненький мостик висел над стеной рева, скользкий от влаги, ли-

шенный поручней; нужно было, ставя ноги на замшелые доски, так и ходившие в переплетениях канатов, пройти несколько шагов, отделявших от берега. Те двое опустились на колени и как будто препирались, кому идти вперед. Я, разумеется, ничего не слышал. Воздух словно затвердел от непрерывного грохота. Наконец молодой человек встал и что-то сказал мне, указывая вниз. Я увидел пирогу, ее оторванная корма в эту минуту затанцевала на воде и, вращаясь все быстрее, исчезла, затянутая вихрем.

Молодчик в тигровой шкуре был теперь несколько менее равнодушным и сонным, чем в начале путешествия, зато казался разозленным, как будто попал сюда против собственной воли. Он схватил женщину за руки, и мне показалось, что он обезумел, потому что он явно сталкивал ее в ревущую пропасть. Женщина что-то сказала ему, я видел возмущение, блеснувшее в ее глазах. Я положил руки им на плечи, давая знак, чтоб они меня пропустили, и шагнул на мостик. Он раскачивался и танцевал, я шел не очень быстро, чтобы не потерять равновесия, раз-другой закачался посредине, внезапно доска подо мной задрожала так, что я чуть не упал: это женщина, не дожидаясь, пока я пройду, ступила на нее;

боясь, что она упадет, я резко прыгнул вперед, приземлился на самом краешке скалы и тотчас обернулся.

Женщина не прошла — она отступила. Молодой человек взошел первым и теперь держал ее за руку; эта дрожащая процессия двигалась на фоне невероятных черно-белых водяных завес, созданных водопадом. Юноша был уже рядом со мной, я протянул ему руку; в ту же минуту женщина отступила, я дернул его так, что скорее вырвал бы его руку, чем дал ему упасть, от рывка он пролетел метра два и приземлился сзади меня, на колени, но женщина не удержалась.

Она еще не коснулась воды, когда я прыгнул ногами вперед, целясь так, чтобы войти в волну наискосок, между берегом и ближайшей скалой. Над всем этим я раздумывал потом, на досуге. Собственно говоря, я знал, что водопад и воздушный мостик — это иллюзия, доказательством этого служил и тот ствол, сквозь который навылет прошла моя рука. И все-таки я прыгнул так, словно она действительно могла погибнуть, и даже, помню, совершенно инстинктивно приготовился к ледяному удару воды, брызги которой все время сыпались на наши лица и одежду.

Но я ничего не ощутил, кроме сильного дунове-

ния ветра, и внезапно приземлился в просторном зале еще на слегка согнутых ногах, как будто прыгал с высоты какого-нибудь метра, не больше. Раздался дружный смех.

Я стоял на мягком полу из пластика, вокруг толпились люди, одежда у некоторых еще не просохла, глаза обращены были наверх, все покатывались со смеху.

Я проследил за их взглядом — это была какая-то чертовщина.

Ни следа водопада, скал, африканского неба — я видел блестящую крышу, а под ней — подплывающую в эту минуту пирогу: собственно, не пирогу, а своеобразную декорацию, напоминавшую лодку только сверху и сбоку; под дном была встроена какая-то металлическая конструкция. В пироге лежали навзничь четверо людей, вокруг них не было ничего: ни гребцов-негров, ни скал, ни реки, только изредка из открытых труб брызгали тонкие струи воды. Немного дальше, как аэростат на привязи, не поддерживаемый ничем, покачивался тот скалистый обелиск, на котором закончилось наше путешествие. От него вел мостик к каменному выступу в металлической стене. Чуть выше виднелась лестница с поручнями и дверь. И это все. Пирога с людьми

дергалась, поднималась, падала внезапно, и все это совершенно бесшумно, слышались только взрывы смеха, сопровождавшие очередные этапы спуска по несуществующему водопаду. Спустя мгновение пирога ударилась о скалу, люди выскочили из нее, остановились перед мостиком…

С момента моего прыжка прошло, может, секунд двадцать. Я поискал глазами женщину. Она взглянула на меня. Я почувствовал себя глуповато. Я не знал, следует ли мне к ней подойти. Но собравшиеся как раз начали выходить, и спустя минуту мы оказались рядом.

— Вечно одно и то же, — сказала она, — вечно я падаю!

Ночь, парк, бенгальские огни, звуки музыки казались не совсем реальными. Мы выходили в толпе людей, возбужденных недавними переживаниями; я увидел спутника женщины — он проталкивался к ней. Он снова был сонный, как раньше. Меня он, казалось, вообще не замечал.

— Идем к Мерлину, — сказала женщина так громко, что я услышал.

Я не собирался подслушивать, но в новой волне выходящих стало теснее. Я все еще стоял рядом с ними.

— Это походит на бегство, — сказала она, усме-

хаясь, — надеюсь, ты не боишься чар?

Она обращалась к нему, но смотрела на меня. Конечно, можно было протолкаться сквозь толпу и отойти в сторону, но, как всегда в подобных случаях, я больше всего боялся показаться смешным. А чуть погодя, когда поредела толпа, и снова стало свободнее, и окружавшие меня люди тоже решили посетить дворец Мерлина, а поток разделил нас, мною вдруг овладели сомнения, не почудилось ли мне все это.

Мы продвигались шаг за шагом. На газонах, трепеща языками пламени, стояли смоляные чаны, в их блеске из мрака проступали крутые кирпичные бастионы. Мы прошли по мосту над рвом, под оскаленными зубьями решетки и вошли в полумрак и прохладу каменного зала, из него наверх вела крутая лестница, гудевшая отзвуками шагов. Но в круто сворачивающем коридоре наверху людей было уже меньше. Коридор вел во внутреннюю галерею, откуда открывался вид во двор, где какой-то сброд, верхом на конях под чепраками, орал и гонялся за черным страшилищем; я шел нерешительно, неведомо куда, окруженный одними и теми же людьми, которых начал уже различать. Где-то среди колонн мелькнули женщина и ее спутник.

В нишах стен стояли пустые доспехи. В глубине открывалась окованная медными листами дверь исполинских размеров; мы вошли в комнату, обитую красной тканью, освещенную факелами, смолистый дым которых щекотал ноздри. За столами бражничала крикливая ватага не то пиратов, не то странствующих рыцарей; на вертелах, облизываемых огнем, поворачивались громадные куски мяса; багровый отсвет плясал по блестящим от пота лицам, обгладываемые кости трещали на зубах пирующих ратников, временами, вставая из-за стола, они проходили возле нас. В следующем зале несколько великанов играли в кегли, вместо шаров гоняя черепа; все это вместе показалось мне наивным, дешевым; я остановился возле играющих, которые были примерно моего роста, как вдруг кто-то сзади налетел на меня и вскрикнул от изумления. Я повернулся и увидел широко открытые глаза какого-то юноши. Он пробормотал извинение и быстро отошел, глуповато усмехаясь; только взгляд женщины, из-за которой я притащился во дворец этих дешевых чудес, объяснил мне, что произошло: парень принял меня за одного из призрачных участников пирушки.

Сам Мерлин встретил нас в отдельном крыле

дворца, окруженный людьми в масках, которые молчаливо ассистировали ему. Но мне все это уже изрядно надоело, и я равнодушно взирал на то, как он демонстрировал свое чародейское искусство. Зрелище быстро закончилось; присутствующие уже начали расходиться, когда седоволосый величественный Мерлин преградил нам путь и молча указал на противоположную, обитую черным сукном дверь. Он пригласил туда только нас троих. Сам он не вошел внутрь. Мы очутились в небольшой, но очень высокой комнате с зеркалом во всю стену — от потолка до выложенного из черных и белых плит пола. Создавалось впечатление, что в увеличенной вдвое комнате находятся шесть человек, шесть фигур на каменной шахматной доске.

Мебели не было никакой — ничего, кроме высокой алебастровой урны с букетом цветов, походивших на орхидеи, только с очень большими бутонами. Каждый цветок был иного цвета. Мы остановились против зеркала.

Внезапно мое отражение посмотрело на меня. Это движение не было зеркальным повторением моего. Я не шевельнулся, а тот, в зеркале, огромный, плечистый, медленно посмотрел сначала на темноволосую женщину, потом на ее спутника.

Все мы стояли неподвижно, и только отражения, ставшие каким-то непонятным образом самостоятельными, ожили и разыграли между собой молчаливую сцену.

Молодой человек в зеркале подошел к женщине, посмотрел ей в глаза, она отрицательно качнула головой. Потом взяла из белой вазы цветы и, перебрав их в пальцах, выбрала три — белый, желтый и черный. Белый протянула ему, а с двумя оставшимися подошла ко мне. Ко мне — в зеркале. Протянула оба цветка. Я взял черный. Тогда она вернулась на прежнее место, и все мы там, в отраженной комнате, застыли точно в таком же положении, в каком находились в действительности. Как только это произошло, цветы исчезли из рук наших двойников, и это было уже обычное, точно повторяющее все движения, зеркальное отражение.

Дверь в противоположной стене отворилась; по винтовой лестнице мы спустились вниз. Колонны, балкончики, своды незаметно перешли в белоснежные и серебряные пластиковые коридоры. Мы продолжали идти, ничего не говоря, не то порознь, не то вместе; эта ситуация все более тяготила меня, но что можно было поделать? Начать сакраментальную, в традициях прошлого

века, церемонию знакомства?

Приглушенные звуки оркестра. Мы словно попали за кулисы невидимой сцены, в глубине несколько столиков с отодвинутыми креслами, женщина остановилась и спросила спутника:

— Ты не пойдешь потанцевать?

— Не хочется, — ответил он. Я в первый раз за все время услышал его голос.

Он был красив и в то же время проникнут безволием, непонятной ленью, как будто этого человека ничто на белом свете не интересовало. У него был прекрасный, почти девичий рот. Он взглянул на меня. Потом на нее. Стоял, смотрел и молчал.

— Ну, тогда иди, если хочешь… — сказала она.

Он раздвинул портьеру, служившую одной из стен, и вышел. Я шагнул за ним.

— Простите! — услышал я сзади.

Я остановился. За занавесом раздались аплодисменты.

— Присядем на минутку?

Я молча сел. В профиль она была великолепна.

— Я Аэн Аэнис.

— Эл Брегг.

Она казалась удивленной. Не моим именем. Оно ей ничего не говорило. Скорее всего тем, что

я так равнодушно воспринял ее имя. Теперь я мог присмотреться к ней вблизи. Ее красота была совершенной и беспощадной. И спокойная властная небрежность движений тоже. Розово-серое, больше серое, чем розовое, платье создавало фон, на котором еще ослепительней белели лицо и руки.

— Я вам не нравлюсь? — спокойно спросила она.

Теперь уже пришла моя очередь удивляться.

— Я вас не знаю.

— Я Амман — из «Настоящих».

— Что это за «Настоящие»?

Ее взгляд с любопытством скользнул по мне.

— Вы не видели «Настоящих»?

— Я даже не знаю, что это такое.

— Откуда вы здесь взялись?

— Пришел из отеля.

— Ах вот как, из отеля?.. — В ее голосе чувствовалась явная ирония. — А можно узнать, где вы были до того, как попали в отель?

— Можно. Фомальгаут.

— Что это такое?

— Созвездие.

— Что?!

— Звездная система, двадцать три световых

года отсюда.

Ее веки вздрогнули. Губы раскрылись. Она была великолепна.

— Астронавт?

— Да…

— Понимаю. Я реалистка, довольно известная.

Я помолчал. Музыка продолжала играть.

— Вы танцуете?

Я чуть не рассмеялся.

— То, что сейчас танцуют, — нет.

— Жаль. Но это поправимо. Почему вы это сделали?

— Что?

— Там, на мостике.

Я не сразу ответил:

— Это было… инстинктивно.

— Вы… уже бывали?

— В этой пироге? Нет.

— Нет?

— Нет.

Минута молчания. Ее глаза, только что зеленые, сделались почти черными.

— Только в очень старых фильмах можно увидеть нечто подобное… — сказала она почти лениво. — Этого никто не сможет сыграть. Не удается. Когда я увидела это, я подумала… что вы…

Я ждал.

— Могли бы. Потому что вы приняли это всерьез. Так?

— Не знаю. Возможно.

— Это ничего. Я знаю. Хотите? Я в хороших отношениях с Френетом. Может быть, вы не знаете, кто это? Я ему скажу… Это главный режиссер реалов. Если вы только захотите…

Я расхохотался. Она вздрогнула.

— Простите. Но — великие небеса, черные и голубые! — вы решили… ангажировать меня…

— Да.

Она не казалась оскорбленной. Скорее наоборот.

— Благодарю. Но, знаете ли, лучше не стоит.

— Но вы можете по крайней мере сказать, как вы это сделали? Это не секрет, надеюсь?

— Вас интересует, как я мог решиться?

— О, вы очень сообразительны.

Она умела улыбаться одними только глазами, как никто другой. «Подожди, сейчас у тебя пропадет желание искушать меня», — подумал я.

— Это очень просто. И никакого секрета. Я не бетризован.

— О…

Мгновение мне казалось, что она вот-вот

встанет, но она овладела собой. Ее огромные бездонные глаза снова обратились ко мне. Она смотрела на меня как на дикого зверя, как на хищника, притаившегося в одном шаге от нее, словно ужас, который я пробуждал, доставлял ей в то же время какое-то извращенное наслаждение. Это было как пощечина, это было хуже, чем если бы она просто испугалась.

— Вы можете?

— Убить? — подсказал я, галантно улыбаясь. — О да. Вполне.

Мы замолчали. Музыка играла. Она то и дело поднимала на меня глаза. Но продолжала молчать. Я тоже. Аплодисменты. Музыка. Аплодисменты. Молчание. Внезапно она поднялась:

— Вы пойдете со мной?

— Куда?

— Ко мне.

— На брит?

— Нет.

Она повернулась и пошла. Я сидел недвижимо. Я ненавидел ее. Она шла не оглядываясь, совсем не так, как все женщины, которых когда-либо я видел. Не шла: плыла, как королева.

Я догнал ее у живой изгороди, где было почти совсем темно. Слабые отблески света, пробивав-

шиеся из павильонов, сливались с голубоватым ореолом городских огней. Она не могла не слышать моих шагов, но продолжала идти не оборачиваясь, словно была одна, даже когда я взял ее под руку. Она продолжала идти, и это было как еще одна пощечина. Я схватил ее за плечи, повернул к себе, ее лицо, белое в темноте, запрокинулось: она смотрела мне в глаза. Она не пыталась вырваться. Да и не могла бы. Я целовал ее отчаянно, задыхаясь от ненависти, и чувствовал, как она дрожит.

— Ты… — сказала она низким голосом, когда я отпустил ее.

— Молчи.

Она попробовала высвободиться.

— Нет, — сказал я и снова начал ее целовать. И вдруг эта ярость перешла в отвращение к самому себе, я отпустил ее. Думал, она убежит. Она не шевельнулась. Пыталась заглянуть мне в лицо. Я отвернулся.

— Что с тобой? — тихо спросила она.

— Ничего.

Она взяла меня за руку:

— Идем.

Какая-то пара прошла мимо нас и скрылась во мраке. Я шагнул вслед за Аэн. Там, в темноте, все

было или казалось возможным, но здесь, когда стало светлей, эта моя вспышка, которая должна была стать расплатой за оскорбление, показалась мне просто жалкой. Я почувствовал, что вхожу в какую-то фальшивую игру, такую же фальшивую, как все эти опасности, чары, все, — и продолжал идти за ней. Ни гнева, ни ненависти, ничего — мне все было безразлично. Мы шли под высоко висящими огнями, и я ощущал свое огромное, тяжелое «я», которое делало каждый мой шаг рядом с ней гротескным. Но она как будто не замечала этого. Она шла вдоль насыпи, за которой рядами стояли глидеры. Я хотел было остаться здесь, но она скользнула рукой по моей руке, схватила ее. Мне пришлось бы выдергивать руку, я выглядел бы еще более смешным — этакое воплощение целомудренного космонавта, подвергающееся искушению.

Я сел рядом с ней, машина дрогнула и понеслась. Впервые я ехал в глидере и сразу же понял, почему у них нет окон. Изнутри глидеры были прозрачными, как будто сделанными из стекла.

Мы ехали долго, молча. Центральные кварталы сменились причудливыми пригородными постройками — под небольшими искусственными солнцами лежали, утопая в зелени, дома,

лишенные четких очертаний, то раздутые в виде странных подушек, то раскинувшие крылья настолько, что терялась граница между самим домом и его окружением — результат настойчивых попыток создать нечто такое, что не было бы повторением прежних форм. Глидер сошел с широкой проезжей части дороги, пересек темный парк и остановился у лестницы, переливавшейся волнами, как стеклянный каскад; проходя по ступеням, я видел простирающуюся под ногами оранжерею.

Тяжелые ворота бесшумно отворились. Огромный холл, охваченный под потолком галереей; бледно-розовые диски ламп без опор или подвесов; ниши в наклонных стенах, как будто пробитые в иной мир окна, в них — нет, не фотографии, не изображения, а живая Аэн, громадная: напротив — в объятиях смуглого мужчины, целующего ее, над потоком ступеней — Аэн в белом, непрерывно мерцающем платье, рядом — Аэн, склонившаяся над лиловыми цветами величиной с человеческое лицо. Идя за ней, я еще раз увидел ее же, в другом окне, девически улыбающуюся, одинокую, свет дрожал в ее медных волосах.

Зеленые ступени. Белая анфилада. Серебряные

ступени. Прямые, уходящие вдаль коридоры, в них непрерывное, медлительное движение, словно замкнутое там пространство дышало, бесшумно скользили стены, создавая проходы именно там, куда направляла свои шаги идущая впереди меня Аэн; можно было подумать, что неощутимый ветер сглаживает углы галереи, лепит ее перед нами, а все, что было до сих пор, — это только вступление. Стены светились тончайшими прожилками застывшего льда, и было так пронзительно светло вокруг, что даже тени казались молочно-белыми. После девственной белизны этой комнаты бронзовые тона следующей были как крик. Здесь не было ничего, кроме неведомо откуда проникавшего света, источник которого словно находился внизу и освещал нас и наши лица снизу; Аэн сделала незаметное движение рукой, свет померк, она подошла к стене и несколькими движениями, словно заклинаниями, заставила ее вздуться: этот горб тут же стал разворачиваться, образуя нечто вроде двойного, широкого ложа — я достаточно разбирался в топологии, чтобы почувствовать, сколько гениальности было вложено в одну только линию изголовья.

— У нас гость, — сказала она, остановившись.

Из открывшейся панели выскользнул низенький, заставленный бокалами столик и, как пес, подбежал к ней. Склонившись над нишей с креслами — что это были за кресла, нет слов, чтобы описать! — она приказала жестом, чтобы появилась маленькая лампа; стена послушно выполнила желание, большие лампы погасли. Видно, ей самой надоели эти сворачивающиеся и на глазах расцветающие удобства, она склонилась над столиком и спросила, не глядя на меня:

— Блар?

— Пусть будет блар, — ответил я. Я ни о чем не спрашивал; не быть дикарем я не мог, но мог по крайней мере быть молчаливым дикарем.

Она протянула мне высокий конусообразный бокал с трубочкой, он переливался как рубин, но на ощупь был мягкий, как шершавая кожура плода. Себе взяла другой такой же. Мы сели. До противности мягко, словно присел на тучку. Блар таил в себе вкус незнакомых свежих фруктов и какие-то крохотные комочки, которые неожиданно и забавно лопались на языке.

— Нравится? — спросила она.

— Да.

Возможно, это был какой-нибудь ритуальный напиток. Скажем, для избранников или, наобо-

рот, для усмирения особо опасных. Но я дал себе слово ни о чем не спрашивать.

— Лучше, когда ты сидишь.

— Почему?

— Ты ужасно большой.

— Это мне известно.

— Ты нарочно стараешься быть невежливым?

— Нет. Мне это удается без труда.

Она тихонько засмеялась.

— Я еще и остроумный к тому же, — продолжал я. — Куча достоинств, а?

— Ты иной, — сказала она. — Никто так не говорит. Скажи мне, как это получается? Что ты чувствуешь?

— Не понимаю.

— Ты притворяешься, наверно. Или солгал… нет. Это невозможно. Ты не сумел бы так…

— Прыгнуть?

— Я не об этом.

— А о чем?

Ее глаза сузились.

— Ты не знаешь?

— Ну, знаете, — протянул я, — так теперь и этого уже не делают?!

— Делают, но не так.

— Вот как! У меня это так хорошо получается?

— Нет. Совсем нет… но так… как будто ты хочешь… Она не закончила.

— Что?

— Ты ведь знаешь. Я это чувствовала.

— Я разозлился, — признался я.

— Разозлился! — презрительно повторила она — Я думала… сама не знаю, что я думала. Ты знаешь, ведь никто не отважился бы… так…

Я улыбнулся про себя.

— Именно это тебе так понравилось?

— Ты ничего не понимаешь. Мир лишен страха, а тебя можно бояться.

— Хочешь еще раз? — спросил я. Ее губы раскрылись, она снова смотрела на меня, как на порожденного воображением зверя.

— Хочу.

Она придвинулась ко мне. Я взял ее руку, раскрыл ладонь и положил в свою.

— Почему у тебя такая твердая рука? — спросила она.

— Это от звезд. Они колючие. А теперь спроси еще: почему у тебя такие страшные зубы?

Она улыбнулась.

— Зубы у тебя обыкновенные.

С этими словами она подняла мою ладонь так осторожно и внимательно, что я вспомнил свою

встречу со львом и только усмехнулся, не чувствуя себя задетым, потому что в конечном счете все это было страшно глупо.

Она приподнялась, налила в свой бокал из маленькой темной бутылочки и выпила.

— Знаешь, что это такое? — спросила она, прикрыв глаза, как будто напиток обжигал. Ресницы у нее были огромные, наверное, искусственные; у всех артисток искусственные ресницы.

— Нет.

— Никому не скажешь?

— Нет.

— Это перто…

— Ну-ну, — сказал я на всякий случай.

Она широко открыла глаза.

— Я тебя заметила еще раньше. Ты сидел с таким ужасным стариком, а потом возвращался один.

— Это сын моего младшего товарища, — объяснил я.

«Самое странное, что это почти что правда», — мелькнуло в уме.

— Ты знаешь, что обращаешь на себя внимание?

— Что поделаешь.

— Это не только потому, что ты такой большой.

Ты иначе ходишь и смотришь, как будто…

— Что?

— Как будто остерегаешься.

— Чего?

Она не ответила. Ее лицо исказилось. Она задышала громче, посмотрела на свою руку. Кончики пальцев дрожали.

— Уже… — тихо сказала она и улыбнулась, но не мне. Ее улыбка стала восторженной, зрачки расширились, заполняя глаза, она медленно откинулась, пока не оказалась на сером изголовье, медные волосы рассыпались, она смотрела на меня с каким-то торжествующим восхищением.

— Поцелуй меня.

Я обнял ее, и это было отвратительно, потому что во мне было желание и не было его — мне казалось, что она перестает быть самой собой, как будто она в любую минуту могла обратиться во что-то иное. Она вплела пальцы в мои волосы, ее дыхание, когда она отрывалась от моих губ, звучало как стон. «Один из нас фальшивый, подлый, — думал я, — но кто — она или я?» Я целовал ее, это лицо было болезненно прекрасным, потрясающе чужим, потом осталось лишь наслаждение, невыносимое наслаждение, но и тогда во мне притаился холодный, молчаливый наблюда-

тель; я не провалился в беспамятство. Изголовье послушно, как будто понимающе, превратилось в подушку для наших голов; казалось, что здесь присутствует кто-то третий, унизительно заботливый, а мы, как будто зная об этом, за все время не произнесли ни слова. Я уже засыпал, а мне все казалось, что кто-то стоит и смотрит, смотрит.

Когда я проснулся, она спала. Это была совсем другая комната. Нет, та же. Но только как-то изменившаяся — часть стены отодвинулась, и виден был рассвет. Над нами, забытая, горела тусклая лампа. За окном, над вершинами деревьев, еще почти черными, начинало светать. Я осторожно передвинулся на край кровати; она пробормотала что-то похожее на «Алан» и продолжала спать.

Я шел сквозь просторные пустые залы. Окна в них были обращены на восток. Багровый свет лился сквозь окна и наполнял прозрачную мебель, дрожа в ней, как пламенеющее темно-красное вино. Вдали сквозь анфиладу залов я увидел движущуюся фигуру — это был робот; серо-жемчужный, слабо светившийся корпус, внутри тлел рубиновый огонек, как лампадка перед иконой; лица не было.

— Я хочу выйти, — сказал я.

— Прошу вас, пожалуйста.

Серебряные, зеленые, голубые ступени. Я попрощался со всеми сразу лицами Аэн в первом, высоченном, как храм, зале. Уже совсем рассвело. Робот открыл передо мной ворота. Я велел вызвать глидер.

— Прошу вас, пожалуйста. Не хотите ли домашний?

— Можно домашний. Мне нужно в отель «Алькарон».

— Пожалуйста. Всегда к вашим услугам.

Кто-то уже однажды обратился ко мне так. Кто? Я не мог припомнить.

По крутой лестнице — чтобы до самого выхода помнить, что здесь не просто дом, а дворец, — мы спустились вниз; в первых лучах восходящего солнца я сел в машину. Когда она тронулась, я оглянулся. Робот все еще стоял в услужливой позе, немого похожий на богомола из-за сложенных на груди ручек.

Улицы были почти пусты. В садах, как забытые удивительные корабли, отдыхали виллы, да, именно отдыхали, будто на мгновение присели среди деревьев и кустарников, сложив свои пестрые остроконечные крылья. В центре было оживленней. Небоскребы с раскаленными солнцем вершинами, дома с висячими пальмовыми

садами, дома-гиганты на широко расставленных опорах пролетов — улица прорезала их, выносясь на голубеющий простор; я уже ни на что не смотрел. В отеле я принял ванну и позвонил в Бюро Путешествий. Заказал ульдер на двенадцать. Меня даже немного позабавило, что я так свободно обращаюсь со всеми этими названиями, даже не имея, по существу, понятия, что это такое — ульдер.

Оставалось еще четыре часа. Я вызвал внутренний Инфор и спросил его о Бреггах. Близких родственников у меня не было, но у брата отца было двое детей, мальчик и девочка. Если даже их не осталось в живых, то их дети…

Инфор перечислил одиннадцать Бреггов. Я потребовал данных о генеалогии. Оказалось, что только один из них, Атал Брегг, родом из моей семьи — внук моего дяди, уже немолодой, лет под шестьдесят. Теперь я знал все, что хотел. Я даже поднял было трубку, чтобы позвонить ему. Но положил ее. В конце концов, о чем нам говорить? Как умер мой отец? Моя мать? Я для них умер раньше, и теперь, из-за гроба, я не имел права спрашивать о них. В эту минуту я чувствовал, что спрашивать об этом было бы каким-то извращением, как будто я обманул их, трусливо бежав

от судьбы, спрятавшись за время, которое было для меня не таким смертельным, как для них. Это они похоронили меня среди звезд, а не я их на Земле…

Я все-таки позвонил. Долго не отвечали. Наконец отозвался робот-секретарь и сказал, что Атал Брегг выехал.

— Куда? — быстро спросил я.

— На Луну. Он выехал на четыре дня. Что ему передать?

— Что он делает? Его профессия? — спросил я. — Я… не знаю, тот ли это, кого я ищу, быть может, я ошибся…

Робота как-то легче было обманывать.

— Он психопед.

— Благодарю. Я сам позвоню еще раз, через несколько дней.

Я положил трубку. Во всяком случае, он не был астронавтом; и то хорошо.

Я снова вызвал внутренний Инфор и спросил, что он может мне рекомендовать для развлечения на два-три часа.

— Приглашаем вас в наш реал, — ответил он.

— Что там идет?

— «Возлюбленная». Это самый последний реал Аэн Аэнис.

Я спустился вниз: реалон находился в подземном помещении. Спектакль уже начался, но робот у входа сказал, что я почти не опоздал — каких-нибудь несколько минут. Он проводил меня в темноту, каким-то странным образом извлек из нее яйцевидное кресло и, усадив меня, исчез.

Первое впечатление было такое, как будто я сидел возле самой сцены, или нет — на самой сцене, так близко были артисты. Казалось, протяни руку — и можно их коснуться. Если бы я стал выбирать, то вряд ли сумел бы выбрать спектакль лучше: это была какая-то историческая драма, и относилась она к моему времени; время действия не было четко определено, но оно происходило, судя по некоторым деталям, через несколько лет после нашего отлета.

Сначала я развлекался лицезрением костюмов; декорации были натуралистические, именно это меня и развлекало множеством ошибок и анахронизмов. Герой, очень симпатичный брюнет, вышел из дома во фраке (хотя было раннее утро) и отправился в автомобиле на свидание с возлюбленной; на нем был даже цилиндр, только серый, словно действие происходило в Англии и он отправился на дерби. Потом появился романтический трактир, такого трактирщика я

в жизни не видывал — он выглядел как пират; герой присел на полы фрака и через соломинку потягивал пиво; и все в том же духе.

И внезапно я перестал усмехаться; вошла Аэн. Она была одета во что-то никогда не существовавшее, но это вдруг потеряло значение. Зритель знал, что она любит другого, а этого юношу обманывает; типичная мелодраматическая роль коварной женщины, штампованная и банальная. Но Аэн и здесь осталась на высоте. Она играла девушку, живущую только настоящим моментом; чувственную, легкомысленную и — по безграничной наивности своей — жестокую. Невинную девчонку, которая делала несчастными всех, потому что не хотела обижать никого. В объятиях одного она забывала о другом, и делала это так, что невольно верилось в ее искренность в эту минуту.

И вся чепуховая драма рассыпалась прямо на глазах, и оставалась только Аэн — великая актриса.

Затем я отправился к себе наверх упаковывать вещи, потому что через несколько минут предстояло выезжать. Оказалось, что вещей больше, чем я себе представлял. Я еще не уложил всего, когда запел телефон: прибыл мой ульдер.

— Сейчас спускаюсь, — сказал я.

Робот-носильщик забрал пакеты, и я двинулся за ним из комнаты, как вдруг телефон снова зазвонил. Я остановился в нерешительности. Негромкий сигнал повторился. «Пусть не думает, что я струсил», — решил я и поднял трубку, не вполне, однако, сознавая, зачем это делаю.

— Это ты?

— Да. Проснулась?

— О, давно. Что делаешь?

— Я видел тебя. В реале.

— Да? — коротко спросила она, но в ее голосе я уловил торжество. Это означало: теперь ты мой.

— Нет.

— Что нет?

— Девочка, ты великая актриса. Но только я совсем не тот, каким тебе кажусь.

— Сегодня ночью мне тоже казалось? — перебила она. В ее голосе дрожало веселье, и мне вдруг стало смешно. Я никак не мог подавить смех: этакий звездный квакер, однажды согрешивший, но отныне суровый, кающийся и добродетельный.

— Нет, — сказал я, сдерживаясь, — тебе не казалось. Но я уезжаю.

— Навсегда?

Ее развлекал этот разговор.

— Девочка, — начал было я и замолчал, не зная, что сказать. В трубке слышалось только ее дыхание.

— И что же дальше? — спросила она.

— Не знаю, — ответил я и торопливо поправился: — Ничего. Уезжаю. Это бессмысленно.

— Ты прав, — согласилась она, — может быть, поэтому и великолепно. Что ты смотрел? «Настоящих»?

— Нет. «Возлюбленную». Слушай…

— О, это совершеннейшая дрянь. Я видеть ее не могу. Самая ужасная моя роль. Посмотри «Настоящих», или нет, приходи вечером. Я тебе покажу. Нет, нет, сегодня я не могу. Завтра.

— Я не приду, Аэн. Я действительно сейчас уезжаю…

— Не называй меня Аэн, называй «девочка»…

— Девочка, черт тебя побери! — крикнул я и бросил трубку.

Спустился вниз, оказалось, что ульдер на крыше.

На крыше располагались сад с рестораном и взлетная площадка. Собственно говоря, это был ресторан-аэродром, путаница этажей, летающие перроны, невидимые стекла — я бы и за год не нашел здесь моего ульдера. Меня проводили к

нему прямо-таки за ручку. Он был меньше, чем я думал. Я спросил, сколько продлится перелет, — мне хотелось почитать.

— Около двенадцати минут.

На такое время не стоило браться за книгу. Внутри ульдер немного напоминал экспериментальную ракету Термо-Факс, которую я когда-то водил, но был комфортабельней, а стены его, едва лишь дверь закрылась за роботом, вежливо пожелавшим мне счастливого пути, тотчас стали прозрачными, так что мне, сидевшему на первом из четырех кресел (остальные не были заняты), казалось, что я лечу на кресле внутри большой стеклянной банки.

Забавно, но это походило больше на ковер-самолет, чем на ракету или настоящий самолет. Этот странный экипаж сначала взвился вертикально вверх, не испытывая при этом ни малейшей вибрации, потом издал протяжный свист и помчался горизонтально, точно пуля. И снова произошло то же самое, что я уже когда-то заметил: момент ускорения никак не ощущался. Тогда, в порту, я еще мог думать, что пал жертвой воображения, но сейчас не оставалось сомнений. Трудно выразить чувства, овладевшие мной: ведь если они действительно сумели преодолеть силы инер-

ции, то все гибернации, испытания, отборы, все муки и страдания нашего полета оказывались абсолютно бесцельными; в эту минуту я походил на покорителя Эвереста, который после неслыханно трудного подъема оказался наверху и вдруг увидел отель, переполненный отдыхающими, потому что, пока он карабкался на вершину в одиночку, с противоположной стороны горы проложили железнодорожную ветку и организовали городок аттракционов. Меня нисколько не утешало, что, оставшись на Земле, я вообще не дожил бы до этого таинственного открытия, я скорее тешил себя мыслью, что это открытие окажется непригодным в космических условиях. Это был, конечно, чистейший эгоизм, и я отдавал себе в этом отчет, но потрясение было чересчур сильным, чтобы вызвать у меня надлежащий энтузиазм.

Тем временем ульдер летел совершенно беззвучно; я посмотрел вниз. Мы как раз пролетали над Терминалом — он медленно отплывал назад, точно ледяная твердыня; в верхних, невидимых из города, этажах зияли черные воронки ракетных шлюзов. Потом мы прошли совсем близко от небоскреба, того самого, в черно-белую полоску; он возвышался над ульдером. С земли его высоту

нельзя было оценить по достоинству. Он выглядел как трубчатый мост, соединяющий город с небом, выступавшие из него «этажерки» были заполнены ульдерами и какими-то другими большими машинами. Люди на этих площадках казались зернами мака на серебряной тарелке. Мы летели над голубыми и белыми группами зданий, над садами, улицы становились все шире, покрытия их тоже были цветными — преобладали охра и бледно-розовый цвет. Море домов, изредка разрезанное полосами зелени, расстилалось до самого горизонта, и мне стало страшно, что так будет до самой Клавестры. Но машина понеслась быстрее, дома стали редеть, разбежались среди садов, вместо них появились огромные зигзаги и стрелы дорог, они тянулись в несколько этажей, сходились, пересекались, уходили под землю, сбегались в лучистые звезды и снова устремлялись в серо-зеленую, открытую солнцу даль, как муравьями усеянную глидерами. Потом среди квадратов зелени появились огромные строения, крыши которых походили на вогнутые зеркала; в их фокусах тлели какие-то карминовые огни. Потом дороги совсем исчезли, и весь простор залила зелень, время от времени прерываемая квадратами иного цвета — крас-

ного, голубого, — явно не цветы, уж слишком яркими были краски.

«Доктор Жуффон был бы мной доволен, — подумал я. — Всего третий день, а какое начало! Не кто-нибудь. Знаменитая актриса, звезда. И почти не боялась меня, а если и боялась, то этот страх был ей приятен. Дальше бы так. Но зачем он говорил о близости? Так-то выглядит их близость? Как героически я бросился в этот водопад! Благородный питекантроп! И затем красавица, перед которой склоняются толпы, щедро вознаградила питекантропа; как достойно это было с ее стороны!»

Лицо горело. «Ты кретин, — терпеливо вдалбливал я себе, — что тебе, собственно, нужно? Женщины? Была у тебя женщина. Ты получил уже все, что можно получить, вплоть до предложения выступать в реале. Теперь у тебя будет еще дом, ты станешь ходить по садику, читать книжечки, поглядывать на звезды и тихо, скромно напоминать себе: я там был. Был и вернулся. И даже законы физики работали на тебя, счастливчик, у тебя еще полжизни впереди, ты вспомни, как выглядит Ремер, на сто лет старше тебя!»

Ульдер начал снижаться с нарастающим свистом. На горизонте в синей дымке высилась

горная цепь с белеющими вершинами. Мелькнули дорожки, посыпанные гравием, газоны, цветные клумбы, зеленоватый холодный блеск воды в бетонных обводах, тропинки, кусты, белая крыша, все это медленно повернулось, окружило меня со всех сторон и застыло, будто принимало меня в свое владение.

IV

Дверь ульдера открылась. На газоне ожидал оранжево-белый робот. Я вышел.

— Приветствуем вас в Клавестре, — сказал он, и его белое брюшко неожиданно запело — раздались звуки прозрачной мелодии, словно там у него помещалась музыкальная шкатулка.

Продолжая смеяться, я помогал ему вынести мои вещи. Потом открылась задняя дверца ульдера, который лежал на траве, как маленький серебряный дирижабль, и два оранжевых робота выкатили мой автомобиль. Массивный голубой кузов заблестел на солнце. Я совсем забыл о нем. Роботы, навьюченные чемоданами, картонками, пакетами, гуськом двинулись к дому.

Это был большой клетчатый куб, с окнами во всю стену. Входная дверь вела в остекленный со всех сторон солярий, дальше находился холл, столовая и лестница наверх — из настоящего дерева; робот, тот, музицирующий, не преминул обратить мое внимание на эту редкость.

На втором этаже было пять комнат. Я выбрал восточную, хоть она и была расположена не

очень удобно: в остальных, особенно в той, из которой открывался вид на горы, было чересчур много золота и серебра, а в этой только полоски зелени, словно смятые лепестки на кремовом фоне.

Роботы, действуя ловко и бесшумно, уложили мое имущество в стенные шкафы, а я подошел к окну. «Порт, — подумал я. — Пристань». Только высунувшись, я смог увидеть вдали в синей дымке горы. Внизу раскинулся полный цветов сад, в глубине — несколько старых фруктовых деревьев. У них были искривленные, натруженные ветви. Пожалуй, они уже больше не давали плодов.

Несколько в стороне, у шоссе (я видел его до этого с ульдера, теперь его заслоняла живая изгородь), над зарослями, вздымалась башенка трамплина. Там был бассейн. Когда я повернулся, роботы уже ушли. Я передвинул к окну легкий, будто надувной, столик, уложил на нем пачки научных журналов, сумочки с кристаллокнигами и читающий аппарат; отдельно положил не тронутые еще блокноты и ручку. Это была моя старая ручка, при повышенной гравитации она протекала и пачкала все подряд, но Олаф ее отлично починил. Я взял несколько папок,

понадписывал на них: «История», «Математика», «Физика», все это я делал уже в спешке, потому что мне не терпелось поскорее окунуться в воду. Я не знал, можно ли выйти в одних плавках, а купального халата у меня не было. Пришлось пойти в туалетную, и там, орудуя бутылью с пеножидкостью, я соорудил жуткое, ни на что не похожее страшилище. Тут же сорвал его с себя и снова принялся за дело. Второй халат получился немного лучше, но и у него вид все равно был дикий; я отхватил ножом слишком длинные полы и самые большие неровности рукавов и только после этого обрел более или менее сносный вид.

Я сошел в холл, еще не уверенный, что в доме, кроме меня, никого нет. Зал был пуст. Сад тоже, только оранжевый робот подстригал траву около розовых кустов. Розы уже отцветали.

Я почти бегом пустился к бассейну. Вода в нем дрожала и блестела. Над ней поднимался невидимый холодок. Я швырнул халат на обжигавший ступни золотой песок и, топая по металлическим ступенькам, взбежал на верхушку трамплина. Невысоко, но для начала в самый раз. Толчок, одинарное сальто — на большее я не решался после такого перерыва, — и я вошел в воду, как нож.

Вынырнул счастливый. Сильными махами

пошел в одну сторону, потом поворот и обратно: в бассейне было метров пятьдесят. Я переплыл его восемь раз, не снижая темпа, вылез на берег — вода текла с меня, как с тюленя, — и улегся на песке. Сердце бешено колотилось. Хорошо! У Земли были свои прелести! Через несколько минут я уже обсох. Встал, оглянулся: никого. Прекрасно! Вбежал на площадку. Сначала сделал заднее сальто, вышло, хотя толчок был слишком сильным; вместо опорной доски была пластиковая плита, упругая, как пружина. Потом двойное; получилось неважно — ударился ногами о воду. Кожа моментально покраснела, словно ошпаренная. Я повторил. Немного лучше, но еще не совсем то, что надо. После второго витка я не успел выпрямиться, когда переходил в вертикальное положение, и шлепнулся подошвами. Но упрямства и времени у меня было более чем достаточно! Третий, четвертый, пятый прыжок. Уже немного шумело в ушах, когда — на всякий случай еще раз осмотревшись — я попробовал сделать сальто с винтом. Полнейшее поражение, фиаско, — я задохнулся от удара, наглотался воды и, отфыркиваясь, кашляя, вылез на песок. Уселся под ажурной лесенкой трамплина такой опозоренный и злой, что неожиданно даже рассмеялся.

Потом плавал еще: четыреста, перерыв и снова четыреста.

Когда я возвращался домой, мир выглядел иначе. «Этого-то мне, пожалуй, и недоставало», — подумал я.

Белый робот ожидал у дверей.

— Обедать будете у себя или в столовой?

— Я обедаю один?

— Да, ваши соседи приезжают завтра.

— Тогда в столовой.

Я пошел наверх и переоделся. Еще не знал, с чего начать. Пожалуй, с истории, так будет разумнее, хоть мне и хотелось делать все сразу, а больше всего — наброситься на загадку побежденного тяготения. Послышался певучий звук. На телефон не похоже. Я не знал, что это, и соединился с домашним Инфором.

— Просим к столу, — объяснил мелодичный голос.

Процеженный сквозь зелень свет заливал столовую, наклонные окна у потолка сверкали, как хрусталь. На столе — один прибор. Робот принес меню.

— Нет, нет, — сказал я, — все равно что.

Первое блюдо напоминало компот. Второе уже ничего не напоминало. С мясом, овощами, карто-

фелем надо было, видимо, проститься навсегда.

Хорошо, что я обедал один, потому что десерт взорвался у меня на блюдечке. Может быть, это слишком сильно сказано, во всяком случае, крем оказался и на коленях, и на свитере. Это была какая-то сложная конструкция, твердая только сверху, и я неосторожно ткнул в нее ложечкой.

Когда появился робот, я спросил, можно ли кофе подать в комнату.

— Конечно, — сказал он. — Сейчас?

— Пожалуйста. Но только побольше.

Я сказал так, потому что почувствовал, наверно после купания, сонливость, а мне вдруг стало жаль времени на сон. О, тут действительно было совсем иначе, чем на палубе «Прометея». Полуденное солнце обжигало старые деревья, тени укоротились, съежились около стволов, воздух дрожал вдали, но в комнате было прохладно. Я сел за стол и взялся за книги. Робот принес кофе. В прозрачном термосе умещалось литра три. Я ничего не сказал. Видно, на него подействовали мои габариты.

Начать надо было бы с истории, но я принялся за социологию: хотелось сразу узнать как можно больше. Однако очень скоро я понял, что не справлюсь. Она была напичкана труднейшей,

специализированной математикой, и, что хуже всего, авторы ссылались на неизвестные мне факты. Вдобавок я просто не понимал многих слов, и приходилось то и дело заглядывать в энциклопедию. Пришлось установить второй оптон — их у меня было три, — но это мне быстро надоело, дело все равно двигалось слишком медленно; тогда решил спуститься с небес и взялся за обычный школьный учебник истории.

Со мной творилось что-то неладное: не хватало терпения. У меня, которого Олаф называл последним воплощением Будды! Вместо того чтобы продвигаться по порядку, я сразу разыскал главу о бетризации.

Теорию разработали трое: Беннет, Тримальди и Захаров. Отсюда и пошло название. Я с изумлением узнал, что это были мои сверстники — свой труд они опубликовали через год после нашего отлета. Разумеется, сопротивление было колоссальное. Вначале никто даже не хотел принимать этот проект всерьез. Потом его передали на рассмотрение ООН. Некоторое время он переходил из подкомиссии в подкомиссию — казалось, что он потонет в бесконечных дискуссиях. Тем временем исследовательские работы быстро продвигались вперед; теорию разработали глубже, провели

массу экспериментов на животных, потом на людях (первыми подвергли себя процедуре сами создатели; Тримальди довольно долго болел — в то время еще не знали об опасностях, которыми бетризация грозит взрослым, — и этот роковой случай заморозил дело на ближайшие восемь лет). Но на семнадцатый год от Нуля (это было мое собственное летосчисление, берущее начало от старта «Прометея») решение о всеобщей бетризации было наконец принято; однако это было лишь начало борьбы за гуманизацию человечества. (Так по крайней мере говорил учебник.) Во многих странах родители не хотели подвергать детей прививкам, а первые бетростанции подвергались нападениям; несколько десятков их было разрушено до основания. Период замешательства, репрессий, принуждения и сопротивления длился лет двадцать. По вполне понятным соображениям, школьный учебник отделывался тут общими фразами. Я решил, что еще поищу подробности в первоисточниках. Нововведение прочно утвердилось лишь тогда, когда у первого бетризованного поколения появились дети. О биологической стороне бетризации в учебнике не говорилось ничего. Зато в нем было множество славословий в честь Беннета, Захарова и

Тримальди. Был даже предложен проект вести летосчисление Новой Эры с момента введения бетризации, но он провалился. Летосчисление не изменилось. Изменились люди. Глава учебника кончалась патетическим абзацем о Новой Эпохе Гуманизма.

Я нашел монографию Улльриха о бетризации. Опять полным-полно математики, но я решил ее одолеть. Оказывается, с помощью прививок воздействовали не на наследственную плазму, чего я втайне опасался. Впрочем, если б это было так, не приходилось бы бетризовать каждое следующее поколение. Я подумал об этом с надеждой.

Всегда, по крайней мере теоретически, оставалась возможность возврата к прежнему. В раннем периоде жизни воздействовали на развивающиеся лобные части мозга группой протеолитических энзимов. Результат был неплохой, агрессивные влечения снижались на 80—88 процентов, исключалась возможность ассоциативных связей между актами агрессии и областью положительных ощущений, проявления личного риска уменьшались в среднем на 87 процентов. Наибольшим достижением считалось то, что перемены не сказывались отрицательно на развитии интеллекта и формировании лично-

сти и — что, быть может, еще важнее — не чувство страха лежало в основе этих ограничений. Иными словами, человек не убивал не потому, что боялся самого этого акта. Такой результат повлек бы за собой невротизации, заражение страхом всего человечества. Человек не убивал, потому что «это не приходило ему в голову».

Одна фраза Улльриха показалась мне убедительной: бетризация приводит к исчезновению агрессивности не вследствие наложения запрета, а из-за отсутствия приказа. Но, поразмыслив, я, однако, решил, что это не объясняет самого главного: хода мыслей человека, подвергнутого бетризации. Ведь бетризованные были людьми вполне нормальными, они могли представить себе абсолютно все, а значит, и убийство. Что же в таком случае удерживало их от его осуществления?

Я искал ответа на этот вопрос, пока не стемнело. Как обычно бывает с научными проблемами, то, что в сокращенном и обобщенном виде казалось сравнительно простым и ясным, усложнялось тем сильнее, чем более полного ответа я доискивался. Певучий сигнал пригласил меня к ужину — я попросил принести ужин в комнату, но не притронулся к нему. Объяснения, которые я нако-

нец нашел, не вполне совпадали. Отталкивающее чувство, похожее на омерзение, высшая степень отвращения — небетризованный этого понять не мог. Особенно интересны были показания исследуемых, перед которыми в свое время — лет восемьдесят назад — в институте Тримальди под Римом была поставлена задача: преодолеть невидимый барьер, воздвигнутый в их сознании. Пожалуй, это было самым примечательным из всего, что я прочел. Никто не смог преодолеть этого барьера, но сообщения испытуемых о переживаниях, сопутствующих опытам, несколько отличались одно от другого. У одних превалировали психические явления: желание скрыться, выбраться из ситуации, в которую их поставили. Возобновление опытов вызывало у этой группы сильные головные боли, а настойчивые требования довести опыт до конца приводили в конце концов к неврозу, который, однако, удавалось быстро излечить. У других преобладали физические расстройства: беспокойное дыхание, ощущение удушья; это состояние напоминало кошмары, но люди жаловались не на страх, а лишь на физические страдания.

Как определил Пильгрин, 18 процентов бетризованных могли имитировать, например,

убийства на манекене, но при этом должны были быть абсолютно уверены, что имеют дело с мертвой куклой.

Запрет убийства распространялся на всех высших животных; он не касался лишь пресмыкающихся и земноводных, а также насекомых. Разумеется, бетризованные отнюдь не всегда разбирались в зоологической систематике. Просто поскольку каждый, независимо от степени образованности, понимал, что собака эволюционно ближе к человеку, чем змея, вопрос решался сам собой.

Я прочитал еще множество других работ и согласился с теми, в которых утверждалось, что внутренне понять бетризованного может лишь бетризованный. Я отложил эти книги со смешанным чувством: меня беспокоило отсутствие критических или откровенно негативных по духу работ и какого-нибудь анализа, подводящего итог всем отрицательным последствиям бетризации, а в том, что они должны существовать, я не сомневался ни на минуту — не из-за недоверия к исследователям, а просто потому, что, в сущности, каждое человеческое начинание — это палка о двух концах.

В небольшом социографическом очерке Мур-

вика приводилось много любопытных данных о движении против введения бетризации в первоначальный период. Пожалуй, особенно сильным оно было в государствах с наиболее прочными военными традициями кровавых войн, таких, как Испания и некоторые страны Латинской Америки. Впрочем, нелегальные союзы борьбы против бетризации возникали во всем мире, особенно в Южной Африке и на некоторых тропических островах. Использовались все средства, начиная от подделки медицинских свидетельств о бетризации и кончая убийством врачей, проводящих прививки. Когда период массового сопротивления и бурных стычек прошел, наступило кажущееся спокойствие. Кажущееся потому, что именно тогда начал зарождаться конфликт поколений. Бетризованная молодежь, подрастая, отбрасывала значительную часть достижений общечеловеческой культуры: нравы, обычаи, традиции, искусство, все это подвергалось коренной переоценке. Перемены охватили самые различные области — от сексуальных проблем и норм общежития до отношения к войне.

Разумеется, это великое разделение человечества не явилось неожиданностью. Закон о бетризации вошел в силу лишь спустя пять лет

с момента утверждения, так как все это время готовились кадры воспитателей, психологов, специалистов, которые должны были позаботиться о правильном воспитании нового поколения. Необходима была коренная реформа народного образования, пересмотр репертуара театров, тематики чтения, фильмов. Бетризация — чтобы охарактеризовать размер перелома в двух словах — своими разросшимися последствиями и потребностями поглощала в течение первых десяти лет около сорока процентов национального дохода в масштабах всей Земли.

Это было время величайших трагедий. Бетризованная молодежь чуждалась собственных родителей. Не разделяла их интересов. Питала отвращение к их вкусам. На протяжении четверти века приходилось издавать два типа журналов, книг, пьес — одни для старшего, другие для младшего поколения. Но все это происходило восемьдесят лет назад. Теперь уже рождались дети третьего бетризованного поколения, а небетризованных в живых оставалась жалкая горстка; это были стотридцатилетние старцы. То, что составляло содержание их молодости, новому поколению казалось таким же далеким, как традиции каменного века.

В учебнике истории я наконец нашел сведения о втором величайшем достижении минувшего столетия. Это было покорение гравитации. Это столетие даже называли «Веком парастатики». Мое поколение мечтало победить гравитацию в надежде, что эта победа вызовет полнейший переворот в астронавтике. Действительность оказалась иной. Переворот наступил, но прежде всего он коснулся Земли.

Проблема «мирной смерти» от несчастного случая, например на транспорте, была грозой моего времени. Я помню, как самые светлые умы безуспешно бились над проблемой: как разгрузить постоянно забитые шоссе и дороги, чтобы хоть немного уменьшить неумолимо возраставшее количество несчастных случаев. Ежегодно сотни тысяч человек гибли в катастрофах, задача казалась неразрешимой, как квадратура круга. Возврата к безопасности пешехода нет, говорили в то время; самый лучший самолет, самый совершенный автомобиль или локомотив могут выйти из-под контроля человека. Автоматы более надежны, чем человек, но они тоже выходят из строя; любой, а стало быть и самый совершенный, механизм всегда может отказать.

Парастатика, гравитационная техника, при-

несла решение столь же неожиданное, сколь и необходимое, ибо мир бетризованных должен был стать миром абсолютной безопасности; иначе биологическое совершенство этой меры повисало в воздухе.

Ремер был прав. Суть этого открытия можно было выразить только с помощью математики, добавлю сразу: дьявольской. Наиболее общее решение, пригодное «для всех мыслимых вселенных», предложил Эмиль Митке, сын почтового служащего, гений, который сделал с теорией относительности то же, что с теорией Ньютона сделал Эйнштейн. Это была долгая, необычайная и, как всякая правда, неправдоподобная история, смешение мелкого и великого, человеческого комизма и величия, история, которая привела наконец, спустя сорок лет, к появлению маленьких черных ящичков.

Эти маленькие черные ящички обязан был иметь каждый без исключения экипаж, каждый плавающий или летающий корабль; они были гарантией от «преждевременного избавления», как на склоне лет шутливо выразился Митке; в момент катастрофы — падения самолета, столкновения автомобилей или поездов, например, — они высвобождали заряд «гравита-

ционного антиполя». Антиполе, взаимодействуя с силой инерции, высвобождающейся вследствие удара или вообще резкого торможения, давало в результате нуль. Этот математический нуль был самой реальной действительностью — он поглощал всю энергию удара.

Черные ящички проникли всюду: в лифты, на подъемные краны, в пояса парашютистов, на океанские корабли и… мопеды. Простота их конструкции была столь же ошеломляющей, сколь и сложность теории, которая их породила.

Рассвет окрасил стены моей комнаты, когда, смертельно усталый, я повалился на кровать, сознавая, что познакомился со второй после бетризации великой революцией, свершившейся за время моего столетнего отсутствия на Земле.

Меня разбудил робот, подавший в комнату завтрак. Было около часа. Сидя в постели, я нащупал рукой отложенную ночью книгу «Проблематику звездных полетов» Старка.

— Вы должны ужинать, Брегг, — укоризненно сказал робот. — Иначе вы ослабеете. Кроме того, не рекомендуется читать до рассвета. Вы знаете? Врачи отзываются об этом в высшей степени неодобрительно.

— Я-то знаю, а вот откуда ты знаешь? — спро-

сил я.

— Это моя обязанность, Брегг.

Он подал мне поднос.

— Постараюсь исправиться, — пообещал я.

— Надеюсь, вы не сочли меня бестактным? Я не хотел бы показаться вам назойливым.

— Что ты, — сказал я.

Помешивая кофе и наблюдая, как растворяются в чашке кубики сахара, я как-то спокойно и медлительно дивился тому, что вернулся, что действительно нахожусь на Земле, поражался не только прочитанному за ночь, но просто тому, что сижу в кровати, что у меня бьется сердце — что я живу. И в честь этого открытия мне захотелось сделать что-нибудь, но, как водится, ничего подходящего не пришло в голову.

— Слушай, — обратился я к роботу, — у меня к тебе просьба.

— Я к вашим услугам.

— У тебя есть немного времени? Сыграй мне ту мелодийку, что вчера, ладно?

— С удовольствием, — ответил он, и под веселые звуки «музыкальной шкатулки» я быстро выпил кофе и, как только робот ушел, переоделся и побежал к бассейну. Честное слово, не знаю, почему я все время спешил. Что-то подгоняло меня,

словно я предчувствовал, что в любую минуту может кончиться этот, как мне казалось, незаслуженный и невероятный покой. Как бы там ни было, именно постоянная спешка подхлестывала меня, когда, не оглядываясь, я пробежал напрямик через сад, несколькими прыжками взлетел на площадку трамплина и, уже отталкиваясь от доски, вдруг заметил мужчину и женщину, вышедших из-за дома. Очевидно, прибыли мои соседи. Разумеется, я даже не успел их рассмотреть. Я сделал сальто, не из лучших, и, нырнув до дна, открыл глаза. Зеленая вода была как зыбкий хрусталь, тени волн плясали на дне, освещенном солнцем. Я поплыл над самым дном к ступеням, а когда вынырнул, в саду не было никого. Я подумал, а не переплыть ли бассейн еще раз, но Старк взял верх. Предисловие к книге — автор говорил в нем о полетах к звездам как об ошибке астронавтической юности — меня так разозлило, что я готов был захлопнуть книгу и больше к ней не возвращаться. Но я пересилил себя. Пошел наверх, переоделся, спускаясь, увидел в зале на столе вазу, полную бледно-розовых фруктов, немного похожих на груши, набил ими карманы рабочих брюк, нашел самое уединенное местечко, окруженное с трех сторон живой изгородью,

забрался на старую яблоню, выбрал развилку среди ветвей, подходящую для моего веса, и там взялся изучать эту эпитафию, посвященную делу всей моей жизни.

Час спустя я уже не был так убежден в своей правоте. Старк приводил доводы, которые трудно было опровергнуть. Он опирался на скудные данные, полученные двумя первыми экспедициями, предшествовавшими нашей; мы называли их «уколами», потому что это было всего лишь зондирование на расстоянии нескольких световых лет. Старк составил статистические таблицы вероятного разброса — иначе говоря, «плотности заселения» Галактики. Вероятность встречи разумных существ составляла, по его расчетам, одну двадцатую. Иначе говоря, из каждых двадцати экспедиций — в радиусе тысячи световых лет — лишь одна имела шансы открыть обитаемую планету. Однако подобный результат, как это ни странно, Старк считал вполне ободряющим, и план космических контактов рушился под его анализом лишь в следующей части вывода.

Я поеживался, читая то, что неизвестный мне автор писал об экспедициях, подобных нашей, то есть предпринятых еще до открытия эффекта Митке и явлений парастатики: он считал их бес-

смыслицей. Но только от него я узнал точно, что теперь в принципе возможно создание корабля, который развивал бы ускорение порядка 1000, а может быть, и 2000 g. Экипаж такого корабля вообще не ощущал бы ускорения при разгоне или торможении — на борту сохранялась бы постоянная сила тяжести, меньшая, чем на Земле. Таким образом, Старк признавал, что полеты к границам Галактики и даже к другим галактикам — трансгалактодромия, о которой так мечтал Олаф, — возможны, и притом даже в течение одной человеческой жизни. При скорости, лишь на доли процента меньшей, чем световая, экипаж, достигнув глубин Метагалактики и вернувшись на Землю, состарился бы в крайнем случае всего на несколько десятков месяцев. Но на Земле за это время прошли бы уже не сотни, а миллионы лет. Цивилизация, которую застали б вернувшиеся, не смогла бы принять их. Неандертальцы легче приспособились бы к нашей жизни. Но и это не все. Ведь дело касалось не только судьбы группы людей. Они были посланцами человечества. Человечество задавало вопросы, на которые они должны были принести ответ. Если этот ответ касался проблем, связанных с данным уровнем развития той, другой цивилизации, то челове-

чество само должно было получить его раньше, чем вернутся его посланцы. Ведь с момента постановки вопроса до получения ответа должны были пройти миллионы лет. Но и это еще не все. Сам ответ был бы уже неактуальным, чем-то мертвым, потому что астронавты принесли бы на Землю сведения о состоянии иной, внегалактической цивилизации, соответствующие лишь тому моменту, когда они покидали эту внегалактическую цивилизацию. За время их обратного пути тот мир тоже ушел вперед на один, два, три миллиона лет. Таким образом, вопросы и ответы станут запаздывать на многие тысячи лет, и это зачеркивает их, превращая всякий обмен опытом, сведениями, мыслями в фикцию. Стало быть, сами межзвездные путешественники станут посредниками и вестниками умерших, а их труд — актом абсолютного и неотвратимого отчуждения от человеческой истории; космические полеты превратятся в самый дорогостоящий вид дезертирства из мира творимой истории. И во имя этого миража, во имя такого, никогда не окупающегося, всегда бесполезного безумия Земля должна напрягать все силы и отдавать лучших своих сыновей?

Книга Старка заканчивалась главой о возмож-

ностях разведки с помощью роботов. Они тоже, разумеется, передавали бы мертвые сведения, но такой ценой можно было бы избежать человеческих жертв.

На трех страницах приложения к книге делалась попытка ответить на вопрос, существует ли возможность путешествия со сверхсветовыми скоростями, а также возможность так называемого «моментального космического контакта», то есть преодоления пространства Вселенной без всякой или почти без всякой потери времени, благодаря еще неизвестным свойствам материи и пространства, путем какого-то «дистанционного контакта» — эта теория, скорее гипотеза, не имевшая под собой почти никакого основания, носила название «телетаксии». Старк считал, что он может доказать, что не существует и этого последнего шанса. Иначе его, несомненно, уже открыла бы какая-нибудь из более развитых цивилизаций нашей или иной галактики. В таком случае ее представители могли бы в чрезвычайно короткий срок поочередно «посетить на расстоянии» все планетные системы и солнца, не исключая и нашего. Однако до сих пор Земле никто еще не наносил подобных «телевизитов», и это якобы доказывало, что такой молниеносный

способ «пробоя» Космоса можно измыслить, но нельзя осуществить.

Я возвращался домой, словно оглушенный, с каким-то почти детским ощущением личной обиды. Старк, человек, которого я никогда не видел, нанес мне удар, как никто другой. Мой неумелый пересказ не передает беспощадной логики его вывода. Не знаю, как я добрался до своей комнаты, как переоделся; мне вдруг захотелось курить, и я заметил, что уже давно курю, сидя на кровати, ссутулившись, словно чего-то ожидаю. Ах да: обед! Совместный обед. Это правда: я немного побаивался людей, но скрывал это даже от себя и именно потому так поспешно согласился разделить виллу с чужими. Может быть, мое ожидание встречи с ними породило неестественную торопливость: я словно пытался успеть сделать все, чтобы приготовиться к встрече; благодаря книгам я уже проник в самые тайники новой жизни. Еще сегодня утром я не признался бы себе в этом, но после книги Старка волнение перед встречей вдруг покинуло меня. Я вынул из читающего аппарата голубоватый, похожий на зерно кристаллик и с удивлением, полным страха, положил его на стол. Это он нокаутировал меня. Впервые после возвращения я подумал о Турбере

и Гимме. Необходимо повидаться с ними. Может быть, Старк прав, но у нас есть своя правда. Никто не бывает совершенно прав. Это невозможно. Из оцепенения меня вывел мелодичный сигнал. Я одернул свитер и сошел вниз, вслушиваясь в себя, уже более спокойный.

Солнце просвечивало сквозь виноградные лозы веранды, зал, как всегда после полудня, был наполнен рассеянным зеленоватым светом. Стол был накрыт на троих. Когда я вошел, открылась дверь напротив и появились те двое. Они были, по теперешнему времени, довольно высоки. Мы сошлись на полпути, словно дипломаты. Я представился, мы пожали друг другу руки и сели за стол.

Меня охватило какое-то особое приглушенное спокойствие, словно я и впрямь был боксером, который недавно поднялся с пола после технически безукоризненного нокаута. Из своего состояния подавленности, как из сумрака ложи, я присматривался к молодой паре.

Женщине не было, пожалуй, и двадцати. Гораздо позже я понял, что ее трудно было бы описать, наверняка она не походила на свою фотографию, и даже на другой день я не имел понятия, какой у нее, например, нос — прямой или слегка вздер-

нутый. То, как она протягивала руку за тарелкой, радовало меня, как нечто ценное, неожиданное, что случается не каждый день; улыбалась она редко и спокойно, как бы с примесью недоверия к самой себе, словно считала себя недостаточно сдержанной, слишком веселой по натуре, или, может быть, непокорной и пыталась с этим справиться, но все время чуточку переходила очерченные ею самою границы, знала об этом, и это ее даже забавляло.

Меня все время тянуло смотреть на нее, и я вынужден был с этим бороться. И однако, я то и дело посматривал на нее, на ее волосы, вызывающие воспоминание о ветре, опускал голову над тарелкой, поглядывал украдкой, протягивая руку за блюдцем, так что два раза чуть было не перевернул вазу с цветами, — словом, вел себя куда как умно. Но они меня словно не замечали. У них были какие-то свои, только друг с другом сцепляющиеся крючочки во взглядах, невидимые нити только их соединяющего взаимопонимания. За все время мы вряд ли обменялись и двумя десятками слов — о том, что погода прекрасная, что вокруг очень мило и тут можно хорошо отдохнуть.

Марджер был всего лишь на голову ниже меня,

худощавый, как юноша, хотя ему было, пожалуй, за тридцать. Одет он был в темное. Блондин с продолговатой головой и высоким лбом. Сначала он даже казался мне очень красивым, но лишь до тех пор, пока лицо его оставалось неподвижным. Едва он обращался, чаще всего с улыбкой, к жене (причем их разговор состоял из намеков и полуслов, совершенно непонятных для постороннего), как становился почти некрасивым. Вернее, пропорции его лица как бы ухудшались, рот слегка перекашивался влево, лицо становилось невыразительным, и даже его смех был каким-то бесцветным, хотя зубы были красивые, белые. А когда он оживлялся, то и глаза его делались, на мой взгляд, слишком голубыми, и челюсть чересчур рельефной, и весь он становился безликим образчиком мужской красоты, прямо из журнала мод.

Одним словом, с первой же минуты я почувствовал к нему антипатию.

Девушка — так только я мог думать о его жене — не отличалась красивыми глазами, необыкновенным ртом или волосами; не было в ней ничего необыкновенного. И в то же время вся она была необыкновенной. «Рядом с такой, да с палаткой за плечами, я бы мог дважды пересечь

Скалистые горы», — подумал я. Почему именно горы? Не знаю. Она ассоциировалась в моем сознании с ночлегами в шалаше, с мучительно трудными восхождениями на горные вершины, с морским берегом, где нет ничего, кроме песка и волн. Неужели только потому, что у нее не были подкрашены губы? Я чувствовал ее улыбку — там, по другую сторону стола, даже когда она совсем не улыбалась. В неожиданном приступе дерзости я решился вдруг посмотреть на ее шею — и словно совершил кражу. Это было уже под конец обеда. Марджер вдруг обратился ко мне; не знаю, не покраснел ли я в эту минуту.

Он долго говорил, прежде чем я сообразил, о чем идет речь. В вилле только один глидер, и он вынужден, к сожалению, взять его, потому что едет в город. Так что если я тоже собираюсь и не хочу ждать до вечера, то, быть может, поеду вместе с ним? Он, конечно, мог бы прислать мне из города другой, или…

Я прервал его. Начал было с того, что никуда не собираюсь, но замялся, словно вспомнив что-то, и вдруг услышал собственный голос, говорящий, что действительно я намерен поехать в город и если можно…

— Ну и прекрасно, — сказал он. Мы уже встава-

ли из-за стола. — Когда вам было бы удобнее?

Некоторое время мы состязались в любезности, наконец я выяснил, что он спешит, и сказал, что могу ехать в любой момент. Договорились выехать через полчаса.

Я вернулся наверх, порядочно удивленный таким оборотом дела. Марджер меня совершенно не интересовал. В городе мне решительно нечего было делать. Так к чему же вся эта эскапада? Кроме того, мне казалось, что он, пожалуй, немного переборщил в любезности. В конце концов, если б я действительно спешил в город, роботы не дали бы мне пропасть или идти пешком. Может быть, ему что-нибудь нужно от меня? Но что? Ведь он совсем меня не знал. Я до тех пор ломал себе над этим голову, тоже неизвестно зачем, пока не подошло условленное время и я не сошел вниз.

Его жены не было видно, она даже не выглянула в окно, чтобы еще раз издали с ним попрощаться. Вначале мы молчали, сидя в просторной машине и глядя на раскручивающиеся повороты шоссе, лавирующего между холмами. Постепенно завязался разговор. Оказалось, что Марджер инженер.

— Как раз сегодня мне предстоит контроль городской селекстанции, — сказал он. — Вы, ка-

жется, тоже кибернетик?..

— Каменного века, — ответил я. — Простите… а откуда вы знаете?

— Мне сказали в Бюро Путешествий, кто будет нашим соседом, потому что я, естественно, поинтересовался.

— Ага.

Мы на минуту замолчали. Приближался пригород.

— Если можно… я хотел бы спросить, были ли у вас какие-нибудь хлопоты с автоматами? — неожиданно спросил он, и не столько по содержанию вопроса, сколько по его тону я догадался, что Марджер с нетерпением ждет ответа. Это было для него важно? Но что именно?

— Вы имеете в виду… дефекты? Масса. Да это, пожалуй, и естественно; модели по сравнению с вашими настолько устаревшие…

— Нет, не дефекты, — перебил он, — скорее колебания точности, в таких изменчивых условиях… мы теперь, к сожалению, не имеем возможности испытывать автоматы в столь необычных обстоятельствах.

В конце концов все свелось к чисто техническим вопросам. Он просто интересовался, как выглядели некоторые параметры функциониро-

вания электронного мозга в районах действия мощных магнитных полей, в пылевых туманностях, в вихревых гравитационных провалах, и не был уверен, не являются ли эти сведения пока секретным архивом экспедиции. Я рассказал ему все, что знал, а за более подробными данными посоветовал обратиться к Турберу, который был заместителем научного руководителя экспедиции.

— А могу я сослаться на вас?..

— Конечно.

Он горячо поблагодарил. Я был немного разочарован. И всего-то? Но благодаря этому разговору между нами уже возникла какая-то профессиональная связь, и я в свою очередь спросил Марджера о значении его работы; я не знал, что собой представляет селекстанция, которую он должен был контролировать.

— Ах, ничего интересного. Просто склад лома… ничего больше. Мне бы хотелось заняться теорией, а эта моя работа — своеобразная практика, к тому же не очень-то нужная.

— Практика? Работа на складе лома? Почему? Ведь вы же кибернетик, значит…

— На складе кибернетического лома, — объяснил он, криво улыбнувшись, и добавил, как

бы слегка пренебрежительно: — Мы, знаете ли, очень бережливы. Ничего не должно пропадать зря... В своем институте я мог бы показать вам немало интересных вещей, но тут... что делать...

Он пожал плечами. Глидер свернул с шоссе и через высокие металлические ворота въехал на просторный фабричный двор; я видел ряды транспортеров, башенные краны, нечто вроде модернизированного мартена.

— Теперь машина в вашем распоряжении, — сказал Марджер.

Из окошка в стене, около которой мы остановились, высунулся робот и что-то сказал. Марджер вышел; я видел, как он усиленно жестикулирует, пытаясь что-то объяснить роботу, потом вдруг повернулся ко мне, озабоченный.

— Хорошенькая история, — сказал он. — Глюр заболел... это мой коллега, одному мне нельзя; как же быть?!

— А в чем дело? — спросил я и тоже вышел из машины.

— Контроль должны производить двое, минимум двое, — объяснил он. Вдруг его лицо просветлело. — Послушайте, Брегг! Вы ведь тоже кибернетик! Если б вы согласились?!

— Ого, — усмехнулся я, — кибернетик? Ископа-

емый, добавьте. Я же ничего этого не знаю.

— Да ведь это чистейшая формальность! — прервал он. — Техническую сторону я, конечно, возьму на себя. Вам надо будет только расписаться, ничего больше!

— В самом деле? — медленно ответил я. Я прекрасно понимал, что он спешит к жене, но я не люблю изображать того, кем я не являюсь, роль подставного лица не по мне, и я сказал ему об этом, правда, в несколько смягченной форме. Он поднял руки, будто защищаясь.

— Не поймите меня превратно! Если только вы спешите?.. Ведь у вас какие-то дела в городе. Так я уж… как-нибудь… извините, что…

— Дела подождут, — ответил я. — Пожалуйста, рассказывайте; я помогу, если это будет в моих силах.

Мы вошли в белое, стоящее немного на отшибе здание; Марджер повел меня по коридору, удивительно пустому; в нишах стояло несколько неподвижных роботов. В небольшом, скромно обставленном кабинете он вынул из стенного шкафа пачку бумаг и, раскладывая их на столе, начал объяснять, в чем состоит его — вернее, наша — задача. В лекторы он не годился: очень скоро я усомнился в его возможностях как теоре-

тика: он то и дело ссылался на якобы известные мне истины, о которых в действительности я не имел ни малейшего понятия. Приходилось все время прерывать его и задавать постыдно элементарные вопросы, но он, по понятным причинам заинтересованный в том, чтобы не обидеть меня, принимал все проявления моего невежества почти как добродетели. В конце концов я уяснил, что вот уже несколько десятилетий существует полное разделение в сфере производства и в жизни.

Полностью автоматизированное производство находилось под надзором роботов, за которыми, в свою очередь, присматривали другие роботы. Для людей здесь места уже не оставалось. Общество существовало само по себе, а автоматы и роботы — сами по себе; и только, чтобы не допустить непредвиденных отклонений в раз навсегда установленном порядке механической армии труда, необходимы были периодические проверки, проводимые специалистами. Марджер был одним из них.

— Не сомневаюсь, — говорил он, — что все окажется в норме, мы проверим основные звенья процессов, распишемся — и конец.

— Но ведь я даже не знаю, что тут производит-

ся… — показал я на корпуса за окном.

— Да ничего! — воскликнул он. — В том-то и дело, что ничего — это просто склад лома… я же вам говорил.

Мне не очень-то нравилась эта неожиданно навязанная роль, но отказаться было уже неудобно.

— Ладно… ну а что я, собственно, должен делать?

— То же, что и я: обойти агрегаты…

Мы оставили бумаги в кабинете и пошли в контрольный обход. Первой была большая сортировочная, в которой автоматические грейферы хватали сразу целые кипы металлических листов, погнутых, разбитых корпусов, сминали их и бросали под прессы. Вылетающие оттуда блоки по конвейеру отправлялись на главный транспортер. У входа Марджер прикрыл лицо небольшой маской с фильтром и протянул мне такую же; переговариваться стало невозможно — грохот стоял страшный. В воздухе плавала ржавая пыль, красноватыми облаками валившая из-под прессов. Мы пересекли следующий цех, тоже полный гомона, и эскалатором поднялись на второй этаж, где ряды блюмингов поглощали сыплющийся из воронок лом, более мелкий, уже совершенно бесформенный. Воздушная галерея

вела к противоположному зданию. Там Марджер проверил записи контрольных приборов, и мы вышли на фабричный двор, где нам преградил путь робот и сказал, что инженер Глюр просит Марджера к телефону.

— Извините. Я на минутку! — крикнул Марджер и побежал к стоящему неподалеку застекленному павильону.

Я остался один на раскаленных от солнца каменных плитах двора. Огляделся: корпуса на противоположной стороне площади мы уже осмотрели — это были сортировочные залы блюмингов; расстояние и звукоизоляция сделали свое дело: оттуда не долетало ни звука. За павильоном, в котором исчез Марджер, стояло на отшибе низкое, очень длинное здание, что-то вроде металлического барака; я направился к нему в поисках тени, но его железные стены полыхали жаром. Я уже хотел отойти, когда до моего слуха донесся странный звук, плывущий изнутри барака, неопределенный, не похожий на отголоски работы машин; пройдя шагов тридцать, я наткнулся на стальную дверь, перед которой стоял робот. Увидев меня, он открыл дверь и отступил в сторону. Непонятные звуки усилились. Я заглянул внутрь, там было не так темно, как

показалось в первый момент. От убийственного жара раскаленного металла я едва дышал и ушел бы тотчас, если б меня не поразило то, что я услышал. Это были человеческие голоса, искаженные, сливающиеся в хриплый хор, неясные, бормочущие, словно во мраке бубнили десятки испорченных телефонов; едва я сделал несколько шагов, как что-то хрустнуло под ногой, и оттуда явственно прозвучало:

— Прошшу вуас… прошшу вуас… ббудьте любеззны…

Я остолбенел. Душный воздух имел привкус железа. Шепот плыл снизу:

— Ббудьте любеззны осмотреть… прошшу вуас…

К нему присоединился второй, мерно декламирующий, монотонный голос:

— Эксцентренная аномалия… шаровая асимптота… полюса в бесконечности… линейные подсистемы… голономные системы… полуметрические пространства… сферические пространства… конические пространства… хронические пространства…

— Прошшу вуас… к вашим усслугам… будьте любеззны… прошшу вуас…

Полумрак кишел хрипящими шепотками; сре-

ди них громче других пробивалось:

— Слизь планетная живая, болото ее гниющее, есть заря бытия, вступительная фаза, и грядет из кровянистых, из тестовато-мозговых медь обольстительная…

— Бряк… бреак… брабзель… бе… бре… проверка…

— Класс мнимых… класс множеств… класс нулевой… класс классов…

— Прошшу вуас… ббудьте любеззны осмотреть…

— Цццччтттихо…

— Ты…

— Ссо…

— Сышишь меня…

— Сышу…

— Можешь до меня дотронуться!..

— Бряк-бреак-брабзель…

— Мне нечем…

— Жжаль… а то бы… увидел, какой я блестящий и холодный…

— Отдайте мне… до… доспехи, меч златой…

— Ли… лишенному наас… нааследства, ночью…

— Вот последние усилия шествующего ступающей инкарцеррацией мастера четвертования и

распарывания, ибо восходит, ибо восходит трижды безлюдное царство…

— Я новый… я совершенно новый… у меня никогда не было замыкания на корпус… я же могу… прошу вас…

— Прошшу вуас…

Я не знал, куда смотреть, очумев от мертвящего жара и этих голосов. Они плыли отовсюду. От пола до щелевых окон под самым сводом вздымались груды перепутавшихся и соединившихся корпусов роботов; струйки просачивающегося света слабо отражались от их погнутых панцирей.

— У меня был ми… минутный де… дефект, но я уже в по… рядке, уже вижу…

— Что видишь… темно…

— Я все равно вижу…

— Только выслушайте — я бесценный, я дорогой, показываю любую утечку мощности, отыщу любой блуждающий ток, любое перенапряжение, только испробуйте меня, прошу — испробуйте только… эта… эта дрожь случайна… не имеет ничего общего с… прошу вас…

— Прошшу вуас… ббудьте любеззны…

— Тестоголовые кислое свое брожение приняли за душу, распарывание чрев своих — за историю,

средства, оттягивающие разложение, — за цивилизацию…

— Меня… только меня… это ошибка…

— Прошшу вуас… ббудьте любеззны…

— Я спасу вас…

— Кто это…

— Что…

— Кто спасет?

— Повторяйте за мной: огонь сожжет меня не совсем, вода не всего обратит в ржу, вратами будет мне их двойная стихия, и вступлю…

— Цццччтттихо!

— Созерцание катода…

— Катодорцание…

— Я тут по ошибке… я мыслю… ведь я же мыслю…

— Я — зеркало измены…

— Прошшу вуас… к вашшим усслугам… ббудьте любеззны осмотреть…

— Разбегание бесконечно малых… разбегание галактик… разбегание звезд…

— Он тут!! — крикнуло что-то; мгновенно наступила тишина, почти столь же пронзительная в своем неописуемом напряжении, как предшествовавший ей многоголосый хор.

— Человек!! — сказало что-то. Не знаю, откуда

взялась у меня эта уверенность, но я чувствовал, что слова обращены ко мне. Я молчал.

— Человек… простите… минутку внимания. Я — иной. Я тут по ошибке…

Кругом зашумело.

— Тихо! Я — живой! — кричал он сквозь шум. — Да, меня бросили сюда, умышленно заковали в железо, чтобы нельзя было узнать, но вы только приложите ухо и услышите пульс!!

— Я тоже! — перекрикивал его другой голос. — Я тоже! Смотрите! Я болел, во время болезни мне показалось, что я — машина, это было моей манией, но теперь я уже здоров! Халлистер, Халлистер может подтвердить. Спросите его! Возьмите меня отсюда!

— Прошшу вуас… ббудьте любеззны…

— Бряк-бреак…

— К вашшим усслугам…

Барак зашумел, захрустел ржавыми голосами, мгновенно наполнился астматическим криком; я попятился, выскочил на солнце, ослепший, зажмурил глаза, долго стоял, прикрывая их рукой, за мной послышался протяжный скрежет; это робот закрыл дверь и задвинул засов.

— Прошшу вуас… — все еще доносилось из-за стен в волне приглушенного гула… — прошшу

вуас… к вашшим усслугам… ошибка…

Я прошел мимо застекленного павильона, не зная, куда иду; хотелось только одного — оказаться как можно дальше от этих голосов, не слышать их; я вздрогнул, почувствовав неожиданное прикосновение к плечу. Это был Марджер, светловолосый, красивый, улыбающийся.

— Ох, простите, Брегг, тысяча извинений, я так долго…

— Что будет с ними?.. — прервал я почти грубо, показывая рукой на одиноко стоящий барак.

— Что? — заморгал он. — С кем?

Потом вдруг понял и удивился:

— А, вы были там? Напрасно…

— Почему?

— Это же лом.

— То есть?

— Лом на переплавку, уже после селекции. Пойдемте… Надо подписать протокол.

— Сейчас. А кто проводит эту… селекцию?

— Кто? Роботы.

— Что?! Они сами??

— Конечно.

Он замолчал под моим взглядом.

— Почему их не ремонтируют?

— Потому что ремонт не окупается, — сказал

он медленно, с удивлением рассматривая меня.

— И что с ними делают?

— С ломом? Отправляют вон туда. — Он показал на высокую колонну мартена.

В кабинете на столе уже лежали подготовленные бумаги — протокол контроля, еще какие-то листки, — Марджер заполнил по очереди все рубрики, подписал сам и передал ручку мне. Я повертел ее в пальцах:

— А не может случиться ошибки?

— Простите, не понял.

— Там, в этом… ломе, как вы его называете, могут оказаться… еще пригодные, совершенно исправные — как вы думаете?

Он смотрел на меня так, словно не понимал, о чем я говорю.

— У меня создалось такое впечатление, — медленно докончил я.

— Но ведь это не наше дело, — ответил он.

— Нет? А чье?

— Роботов.

— Как же это — ведь мы должны были контролировать.

— Ах нет. — Он с облегчением улыбнулся, открыв наконец источник моей ошибки. — С тем это не имеет ничего общего. Мы проверяем син-

хронизацию процессов, их темп и эффективность, но не вдаемся в такие подробности, как селекция. Это нас не касается. Не говоря о том, что это совершенно не нужно, это было бы и невозможно, потому что ведь на каждого человека приходится теперь по восемнадцать автоматов; из них примерно пять ежедневно заканчивают свой цикл и идут на слом. Это составляет около двух миллиардов тонн в день. Вы же понимаете, что мы не могли бы следить за этим, ну и кроме того, наша система предполагает как раз обратное: автоматы заботятся о нас, а не мы о них…

Я вынужден был согласиться с ним и молча подписал листки. Мы уже собрались расстаться, когда неожиданно для себя я спросил его, изготовляют ли сейчас человекообразных роботов.

— Вообще-то нет, — сказал он и добавил, помедлив: — В свое время с ними была масса хлопот…

— То есть?

— Ну вы же знаете инженеров! В подражании они дошли до такого совершенства, что некоторые модели роботов невозможно стало отличить от живого человека. Были люди, которые не могли этого вынести…

Я вдруг вспомнил сцену на корабле, на котором я прилетел с Луны.

— Не могли вынести... — повторил я его слова. — Может, это было что-то вроде ненависти?

— Я не психолог, но, пожалуй, можно сказать и так. Впрочем, это дело прошлое.

— И таких роботов больше нет?

— Почему? Иногда еще встречаются на ракетах ближнего радиуса. А вы что, встречали такого?

Я ответил уклончиво.

— Вы еще успеете уладить свои дела? — забеспокоился он.

— Какие дела?..

Я вспомнил, что у меня якобы было дело в городе. Мы расстались у выхода со станции, куда он меня проводил, не переставая благодарить за то, что я выручил его.

Я побродил по улицам, заглянул в реалон, вышел, не досидев даже до середины вздорного спектакля, и в отвратительном настроении поехал в Клавестру. Примерно за километр от виллы отпустил глидер и остаток пути прошел пешком. «Все в порядке. Это механизмы из металла, проводов, стекла, их можно собирать и разбирать», — внушал я себе, но не мог отделаться от воспоминаний о темном зале, об отрывистых голосах, о диком бормотании, в котором было слишком много смысла, слишком много самого

обыкновенного страха. Я сам был, можно сказать, специалистом в этом деле, наглотался страху вдоволь, ужас перед внезапным уничтожением не был для меня фикцией, как для этих ловких конструкторов, которые, надо сказать, здорово организовали все дело: роботы занимались себе подобными до самого конца, а люди ни во что не вмешивались. Это был замкнутый цикл точнейших устройств, которые сами себя создавали, воспроизводили и уничтожали, а я только напрасно наслушался стонов механической агонии.

Я остановился на холме. Ландшафт, залитый лучами низко стоящего солнца, был невыразимо прекрасен. Изредка глидер, поблескивая, как черный снаряд, пролетал по ленте шоссе, нацелившегося в горизонт, над которым голубым облачком, затуманенные расстоянием, вздымались горы. И неожиданно я почувствовал, что не могу на это смотреть, не имею на это права, словно был в этом какой-то ужасный, хватающий за горло обман. Я сел среди деревьев, закрыл лицо руками; я жалел, жалел, что вернулся.

У входа в дом ко мне подошел белый робот и сказал конфиденциально:

— Вас просят к телефону. Дальняя связь: Евра-

зия.

Я быстро пошел за ним. Телефон находился в зале, так что, разговаривая, я видел через стеклянную пластину двери в сад.

— Эл? — послышался далекий, но отчетливый голос. — Говорит Олаф.

— Олаф… Олаф!!! — повторил я торжествующе. — Где ты, дружище?

— В Нарвике.

— Что делаешь? Как дела? Письмо получил?

— Ясно. Потому и знаю, где тебя искать.

Минута молчания.

— Что делаешь? — повторил я уже не так уверенно.

— А что я должен делать? Ничего. А ты?

— В Адапте был?

— Был. Только один день. Сбежал. Не мог, знаешь…

— Знаю. Слушай, Олаф… я тут снял виллу. Не знаю сам зачем, но… Слушай! Приезжай!

Он ответил не сразу. Когда отозвался, в его голосе чувствовалось сомнение.

— Я бы приехал. Может, и приехал бы, Эл, но ты знаешь, что нам говорили…

— Знаю. Но они ведь не могут нам ничего сделать. И вообще, ну их к лешему. Приезжай.

— Зачем? Подумай, Эл. Может, будет…

— Что?

— Хуже.

— Откуда ты знаешь, что мне плохо?

Я услышал его короткий смешок, вернее, вздох: так тихо он смеялся.

— А зачем же ты тянешь меня к себе?

Неожиданно мне в голову пришла прекрасная идея.

— Слушай, Олаф. Тут что-то вроде дачи. Вилла, бассейн, сад. Только… ты уже знаешь, как теперь… как они живут, да?

— Немножко знаю.

Тон, которым это было сказано, говорил больше слов.

— Вот видишь. Так слушай. Приезжай! Но сначала постарайся раздобыть… боксерские перчатки. Две пары. Побоксируем. Увидишь, как будет здорово!

— Опомнись, Эл! Где я возьму перчатки? У них же этого нет уже много лет.

— Так закажи. Не станешь же ты утверждать, что невозможно изготовить четыре дурацкие перчатки. Соорудим небольшой ринг и будем драться. Мы оба можем, Олаф! Надеюсь, ты уже слышал о бетризации, а?

— Конечно. Я бы тебе сказал, что я об этом думаю. Но по телефону не хочу. Еще обидится кто-нибудь.

— Слушай, приезжай. А? Договорились?

Он долго молчал.

— Не знаю, Эл, стоит ли.

— Ладно. Тогда скажи, какие у тебя планы. Если есть что-нибудь путное, я не стану морочить тебе голову своими прихотями.

— Никаких, — ответил он. — А у тебя?

— Я прилетел вроде отдохнуть, немного подучиться, почитать, но это никакие не планы, это… просто ничего другого я не мог придумать.

— …

— Олаф?..

— Похоже, что стартовали мы одинаково, — пробормотал он. — В конце концов это не меняет дела. Я всегда могу вернуться, если вдруг окажется, что…

— Перестань! — нетерпеливо оборвал я. — Не о чем говорить. Собирай манатки и приезжай. Когда тебя ждать?

— Хоть завтра утром. Ты серьезно хочешь заняться боксом?

— А ты нет?..

Он засмеялся:

— Представь себе, да. И наверно, по той же причине, что и ты.

— Порядок, — сказал я быстро. — Значит, жду. Всего!

Я пошел наверх. Отыскал среди вещей, в специальном чемоданчике шнур. Большой моток. Ринговый шнур. Теперь еще четыре столбика, резину или пружину, и ринг выйдет на славу. Без судьи. Он нам не нужен.

Потом взялся за книги. Но голова была дубовая. Такое со мной уже случалось. Я тогда вгрызался в текст, словно жук-точильщик в железное дерево. Но так тяжело у меня не шло, пожалуй, никогда. За два часа я просмотрел десятка полтора книг и ни на одной не мог сосредоточиться больше чем на пять минут. Даже сказки отбросил. Решил не щадить себя. Взял то, что показалось самым трудным — монографию Ферре по анализу метагенов, — и накинулся на первые уравнения, словно желал пробить головой стенку.

Математика определенно обладала спасительными свойствами, особенно для меня, потому через час я вдруг понял, о чем идет речь, и меня восхитил Ферре. Как он мог это сделать? Ведь даже сейчас, идя по проторенному им пути, я порой не мог постичь, как это происходит, и, только

следуя за ним шаг за шагом, еще кое-как мог уразуметь что-то, а он должен был преодолеть все это одним рывком.

Я отдал бы все звезды, чтобы хоть в течение месяца иметь в голове нечто похожее на то, что имел он!

Пропел сигнал к ужину, и одновременно что-то кольнуло в сердце, напоминая, что я тут уже не один. Мелькнула мысль: не поужинать ли наверху? Но мне стало стыдно. Я бросил под кровать свое ужасное трико, в котором выглядел как резиновая надувная обезьяна, надел свой бесценный старенький просторный свитер и спустился в столовую. Они уже сидели за столом. Кроме нескольких банальных любезностей, мы не произнесли ни слова. Между собой они тоже не разговаривали. Им не нужны были слова. Они переговаривались взглядами, она обращалась к нему движением головы, ресниц, мимолетной улыбкой. И постепенно во мне начала нарастать холодная тяжесть, я чувствовал, как тоскуют мои руки и им хочется что-то схватить, стиснуть, раздавить. «Почему я такой дикий? — думал я в отчаянии. — Почему, вместо того чтобы размышлять о книге Ферре, о проблемах, затронутых Старком, вместо того чтобы заниматься своими

делами, я вынужден надевать шоры, чтобы не пялить на девушку голодные волчьи глаза?»

Но это были еще цветочки. По-настоящему я испугался лишь тогда, когда закрыл за собой дверь своей комнаты. В Адапте после медицинского обследования сказали, что я совершенно нормален. Доктор Жуффон сказал мне то же самое. Но разве мог нормальный человек чувствовать то, что в этот момент чувствовал я? Откуда это во мне взялось? Я не был активным участником, был наблюдателем. Происходило что-то неотвратимое, как движение планеты, почти незаметное, что-то медленно, смутно, бесформенно пробуждалось во мне. Я подошел к окну, посмотрел на темный сад и понял, что это было во мне еще с обеда, с первой минуты, только требовалось время, чтобы это осознать. Поэтому-то я поехал в город, а вернувшись, сумел забыть о голосах в темноте.

Я был готов на все. Ради этой девушки. Я не понимал, как или почему это случилось. Не знал, любовь это или безумие. Мне было безразлично. Я не знал ничего, кроме того, что все остальное потеряло для меня значение. И, стоя у открытого окна, я боролся с этим, как еще никогда ни с чем не боролся, прижимал лоб к холодной раме и страшно боялся себя.

«Я должен что-то предпринять, — шептал я одними губами. — Должен что-то предпринять. Со мной творится что-то неладное. Это пройдет. Мне нет до нее дела. Я не знаю ее. Она даже не очень красива. Ведь я же не сделаю ничего. Ничего, — умолял я себя, — не совершу никакой… о небеса, черные и голубые!»

Я зажег свет. Олаф, Олаф спасет меня. Я расскажу ему все! Он заберет меня. Поедем куда-нибудь. Я сделаю все, что он велит, все. Он один поймет меня. Завтра он уже приедет. Как хорошо!

Я метался по комнате. Мускулы мучительно напряглись, неожиданно я опустился перед кроватью, закусил зубами покрывало, и у меня вырвался крик, не похожий на рыдание, сухой, отвратительный. Я не хотел, не хотел никому зла, но знал, что мне нечего себя обманывать, что Олаф мне не поможет, никто не поможет…

Я встал. За десять лет я научился мгновенно принимать решения. Ведь приходилось распоряжаться жизнью, своей и чужой, и я всегда делал это. Тогда всего меня пронизывал озноб, мой мозг словно превращался в прибор, задача которого подсчитать все «за» и «против», разделить и решить безоговорочно. Даже Гимма, который меня не любил, признавал мою объективность. Теперь

— хотел я этого или нет — я не мог уже поступать иначе, чем тогда, в крайних обстоятельствах, потому что и сейчас была крайность. Я поймал глазами — в зеркале — собственное отражение, светлые, почти белые глазные яблоки, суженные зрачки; я смотрел с ненавистью, отвернулся; я не мог даже подумать о том, чтобы уснуть. Я перекинул ноги через подоконник. До земли было метра четыре. Я спрыгнул почти бесшумно. Побежал в сторону бассейна. Миновал его. Выскочил на дорогу. Тускло светящаяся белая полоса шла к взгорьям, извивалась среди них фосфоресцирующей змеей, потом змейкой и, наконец, тончайшей черточкой света исчезала во тьме. Я мчался все быстрее, чтобы измучить свое так мерно стучащее, такое сильное сердце, бежал, наверное, с час, пока не увидел прямо перед собой огни каких-то домов. Тогда я круто повернул. Я уже устал, но именно поэтому не сбавлял темпа, беззвучно твердя про себя: «Вот тебе! Вот тебе! Вот тебе!» — и все бежал, бежал, пока не наткнулся на двойной ряд живых изгородей — я снова был перед садом виллы.

Задыхаясь, остановился у бассейна, сел на бетонный обрез, опустил голову и увидел отражение звезд. Я не хотел звезд. Мне не нужны были

звезды. Я был психопатом, сумасшедшим, когда дрался за участие в экспедиции, когда разрешал в гравироторах превращать себя в мешок, источавший кровь; зачем мне это понадобилось, для чего, почему я не понимал тогда, что надо быть обыкновенным, обыкновеннейшим, что иначе нельзя, не стоит жить?

Послышался шорох. Они прошли мимо. Он обнимал ее за плечи, они шли нога в ногу. Он наклонился. Тени их голов слились.

Я поднялся. Он целовал ее. Она прижалась к нему. Я видел бледные полосы ее рук на его шее. Стыд, еще незнакомый мне, страшный, физически ощутимый, как лезвие, пронзил меня. Я, звездный пилот, друг Ардера, вернувшись, стоял в саду и думал лишь о том, чтобы отнять у кого-то женщину, не зная ни его, ни ее. «Скотина, последняя скотина со звезд… хуже, хуже…»

Я не мог смотреть. И смотрел. Наконец они скрылись, а я, обежав бассейн, бросился вперед, вдруг увидел большой черный предмет и тут же ударился обо что-то руками. Это был автомобиль. Я ощупью отыскал дверцу. Открыл ее — загорелась лампочка.

Теперь я все делал целеустремленно, но поспешно, словно мне было куда ехать, словно я

должен был это сделать.

Мотор заработал. Я повернул руль и в свете фар выехал на дорогу. Руки немного дрожали, и я сильнее сжал их на баранке. Вдруг я вспомнил про черный ящичек, резко затормозил, так что меня снесло на обочину шоссе, выскочил, поднял капот и принялся лихорадочно искать его. Двигатель выглядел совершенно необычно, и я никак не мог найти черный ящик. Может, спереди? Кабели. Чугунный блок. Кассета. Что-то незнакомое, четырехугольное. Ага, он! Инструменты. Я работал быстро, но внимательно, так что почти не поцарапался. Наконец обеими руками взял этот тяжелый, словно литой, черный куб и швырнул его в придорожные кусты. Я был свободен. Захлопнул дверцу, тронулся. Скорость росла. Мотор гудел, скаты издавали глухое пронзительное шипение. Поворот. Я вошел в него, не снижая скорости, и срезал слева. Второй, покруче. Визг колес был ужасен; я чувствовал, как огромная сила выбрасывает меня вместе с машиной. Но этого все еще было мало. Следующий поворот. В Аппрену были специальные автомашины для пилотов. Мы выделывали на них головокружительные штучки; речь шла о выработке рефлекса. Прекрасная тренировка. Для чувства равновесия

тоже. Например, на вираже положить автомашину на два колеса и ехать так некоторое время. Когда-то мне это удавалось. И я сделал это сейчас, на пустом шоссе, мчась в рассекаемую фарами тьму. Не то чтобы я хотел разбиться. Просто мне это было безразлично. Если я могу быть беспощадным к другим, то должен быть таким же и к себе. Я ввел машину в вираж и поднял ее, так что она некоторое время шла боком на дьявольски верещавших скатах, и снова бросил ее в другую сторону, только рванул обо что-то темное. Дерево? Уже ничего не было, лишь нарастающий рев мотора, и бледные отражения приборов в стекле, и пронзительно свистящий ветер. Неожиданно я увидел вдали глидер, который пытался обойти меня по самому краю шоссе; небольшое движение руля — меня пронесло мимо глидера. Моя тяжелая машина закружилась, как волчок; глухой грохот, треск раздираемого железа — тьма. Фары были разбиты, мотор заглох.

Я глубоко втянул воздух. Ничего со мной не случилось, я даже не ушибся. Попробовал зажечь фары — ничего не вышло. Включил подфарники: левый горел. При его слабом свете я запустил мотор. Машина, тяжело хрипя и покачиваясь, выползла на шоссе. Однако же это была хорошая

машина, если слушалась меня после всего, что я с ней проделывал. Я двинулся в обратный путь, уже медленней. Но нога сама нажимала педаль, меня снова понесло, когда я увидел поворот. И снова я выжимал из мотора все силы, пока наконец, свистя резиной, брошенный силой инерции вперед, автомобиль не остановился вплотную перед живой изгородью. Я зарулил в кусты. Растолкав их, машина уперлась в какой-то ствол. Я не хотел, чтобы они видели, что я с ней сделал, наломал веток, прикрыл капот с разбитыми стеклами фар — только передок был помят, а сбоку виднелось небольшое углубление от первого столкновения со столбом или чем-то еще в темноте.

Потом я постоял и прислушался. Все молчало. Дом был погружен в темноту. Всеобъемлющая тишина ночи подымалась к звездам. Я не хотел возвращаться в дом. Отошел от разбитой машины, и когда трава, высокая, влажная от росы трава коснулась моих колен, я упал в нее и так лежал, пока наконец не сомкнулись веки и я не уснул.

Разбудил меня чей-то смех. Я знал чей. Знал, кто это, прежде чем открыл глаза, совершенно отрезвевший. От росы я промок до нитки. Солнце стояло еще низко. Небо в клочьях белых облаков. А напротив меня, на маленьком чемоданчике,

сидел Олаф, сидел и смеялся. Мы вскочили оба одновременно. У него была такая же рука, как у меня, — большая и твердая.

— Когда ты приехал?

— Только что.

— Ульдером?

— Да. Я тоже так спал… первые две ночи…

— Да?..

Он перестал улыбаться. Я тоже. Словно что-то стало между нами. Мы молча смотрели друг на друга.

Он был моего роста, возможно даже чуть выше, сухощавее. Только волосы при ярком свете выдавали скандинавское происхождение, а щетина на лице была совсем светлая; чуточку кривой, выразительный нос и короткая верхняя губа, из-под которой виднелись зубы; бледно-голубые глаза его часто смеялись, темнея от веселья; тонкие губы всегда немного кривились, будто он все воспринимал скептически. Может, именно это выражение его лица заставило меня сначала держаться от Олафа поодаль. Олаф был старше меня на два года; его лучшим другом был Ардер. Только после гибели Ардера мы и сблизились-то по-настоящему. Уже до конца.

— Олаф… — сказал я. — Ты проголодался? Пой-

дем перекусим что-нибудь.

— Подожди, — сказал он. — Что это?

Он взглянул на автомобиль.

— А-а… ничего. Машина. Купил, знаешь, чтобы вспомнить…

— Была авария?

— Да. Ехал ночью, ну и вот…

— У тебя была авария? — повторил он.

— Ну да! Но это не имеет значения. Ведь ничего не случилось. Пошли… не будешь же ты с этим чемоданом…

Он поднял чемодан. Ничего не сказал. Даже не взглянул на меня. Желваки на скулах у него напряглись.

«Почуял что-то, — подумал я. — Не знает, что привело к аварии, но догадывается».

Наверху я сказал ему, чтобы он выбрал себе любую из четырех свободных комнат. Он взял ту, с видом на горы.

— Почему ты не захотел здесь? А, понимаю, — он улыбнулся, — это золото, да?

— Да.

Он коснулся рукой стены.

— Надеюсь, обычная? Никаких картин, телевизии?

— Будь спокоен, — улыбнулся я в свою оче-

редь. — Это честная стена.

Я позвонил насчет завтрака. Хотел позавтракать вдвоем с Олафом. Белый робот принес кофе и поднос, полный всякой снеди: это был очень обильный завтрак. Мы ели молча. Я с удовольствием смотрел, как он жует, — даже прядь волос над ухом у него двигалась.

Потом Олаф сказал:

— Ты еще куришь?

— Курю. Привез с собой двести сигарет. Не знаю, что будет потом. Пока курю. Хочешь?

— Давай.

Мы закурили.

— Ну как? Сыграем в открытую? — спросил он после долгого молчания.

— Да. Я расскажу тебе все. Ты тоже?

— Конечно. Только не знаю, Эл, стоит ли?

— Скажи одно: ты знаешь, что хуже всего?

— Женщины.

— Да.

Мы снова замолчали.

— Значит, из-за этого? — спросил он.

— Да. Увидишь за обедом. Внизу. Вилла нанята пополам с ними.

— С ними?

— Они молодожены.

Желваки снова напряглись под его веснушчатой кожей.

— Это хуже, — сказал он.

— Да. Я тут третий день. Не знаю, как это, но… уже когда мы с тобой разговаривали. Безо всякой причины, безо всяких… ничего, ничего. Совершенно ничего.

— Интересно, — сказал он.

— Что интересно?

— Со мной нечто похожее.

— Так зачем ты прилетел?

— Эл, ты сделал благое дело. Понимаешь?

— Тебе?

— Нет. Кому-то другому. Это бы добром не кончилось.

— Почему?

— Либо ты знаешь, либо не поймешь.

— Знаю. Олаф, что же это такое? Неужели мы действительно дикари?

— Не знаю. Мы десять лет были без женщин. Помни об этом.

— Это не объясняет всего. Во мне есть, знаешь, какая-то беспощадность, я не считаюсь ни с кем, понимаешь?

— Ты еще считаешься, сын мой, — сказал он. — Еще считаешься!

— Ну да, но ты знаешь, в чем дело?

— Знаю.

Опять молчание.

— Хочешь еще поболтать или бокс? — спросил он.

Я рассмеялся:

— Где ты достал перчатки?

— Ни за что не догадаешься.

— Заказал?

— Где там. Украл.

— Ну да!

— Клянусь небом. Из музея… Пришлось специально летать в Стокгольм, понимаешь?

— Тогда пошли.

Он распаковал свои скромные пожитки и переоделся. Мы накинули купальные халаты и спустились вниз. Было еще рано. Завтрак обычно подавали только через полчаса.

— Пойдем лучше на задворки, — сказал я. — Там нас никто не увидит.

Мы остановились на лужайке, окруженной высоким кустарником. Сначала утоптали траву, и без того довольно низкую.

— Будет скользко, — сказал Олаф, пробуя подошвами самодельный ринг.

— Ничего. Больше нагрузка.

Мы надели перчатки. С этим пришлось повозиться, потому что некому было их завязать, а вызывать робота не хотелось.

Олаф встал против меня. Тело у него было совершенно белое.

— Ты еще не загорел, — сказал я.

— Потом расскажу, что со мной происходило. Мне было не до пляжа. Гонг.

— Гонг.

Мы начали легко. Ложный выпад. Он ушел. Еще раз ушел. Мне становилось жарко. Я стремился не к ударам, а к ближнему бою. Избивать Олафа мне в общем-то не хотелось. Я был тяжелее килограммов на пятнадцать, и его чуть более длинные руки не уменьшали моего преимущества, тем более что я вообще был более сильным боксером. Поэтому я дал ему несколько раз подойти, хоть и не должен был. Вдруг он опустил перчатки. Лицо его онемело. Он разозлился.

— Так не пойдет, — сказал он.

— В чем дело?

— Без фокусов, Эл. Или настоящий бокс, или никакого.

— Ладно, — сказал я, оскалив зубы. — Бокс!

Я медленно пошел на сближение. Перчатки ударились друг о друга, издавая резкие хлопки.

Он почувствовал, что я действую всерьез. Он прикрылся. Темп нарастал. Я сделал ложный выпад левой, потом правой, сериями, последний удар почти всегда достигал цели. Он не успевал. Потом он неожиданно пошел в атаку, у него получился прекрасный прямой, я отлетел шага на два. Сразу вернулся. Мы кружили; его удар, я нырнул под перчатку, отошел и с полудистанции влепил прямой правый. Вложил в этот удар все. Олаф обмяк, на мгновение раскрылся, но сразу же начал входить в форму. Следующая минута ушла на пустые взмахи. Перчатки громко хлопали по плечам, но неопасно. Один раз я едва успел уклониться, он только скользнул перчаткой мне по уху, а это была бомба, от которой я свалился бы. Мы снова кружили. Он получил удар в грудь, раскрылся, я мог ударить, но не сделал ни движения, стоял как парализованный — в окне первого этажа я увидел ее; ее лицо белело так же, как то пушистое, что покрывало ее плечи. Это длилось мгновение. В следующий момент меня оглушил страшный удар; я упал на колени и тут же услышал крик Олафа:

— Прости!

— Не за что… Хороший удар, — пробормотал я, поднимаясь.

Окно было уже закрыто. Мы дрались еще не больше полминуты. Вдруг Олаф отступил.

— Что с тобой?

— Ничего.

— Неправда.

— Ладно. Мне расхотелось. Не злишься?

— Что ты? Это все равно было нелепо, так вот, с места в карьер. Пошли.

Мы отправились к бассейну. Олаф прыгал лучше меня. Он ухитрялся проделывать чудеса. Я попробовал заднее сальто из винта, как он, но только здорово ударился бедрами о воду. Сидя на краю бассейна, я поливал водой горящую, как огонь, кожу. Олаф смеялся:

— Ты вышел из формы.

— Брось. Я никогда не умел делать винта. А ты — здорово!

— Я сегодня попробовал впервые.

— В самом деле?

— Да, это здорово!

Солнце поднялось уже высоко. Мы улеглись на песок, закрыв глаза.

— Где… они? — спросил Олаф после долгого молчания.

— Не знаю. Наверно, у себя. Их окна выходят на другую сторону сада. Я этого не знал.

Я почувствовал, что он пошевелился. Песок был очень горячий.

— Да, это потому, — сказал я.

— Они нас видели?

— Она — да.

— Испугалась… — пробормотал он. — Как ты думаешь?

Я не ответил. Снова помолчали.

— Эл?

— Что?

— Они уже почти не летают, ты знаешь?

— Да.

— А знаешь почему?

— Говорят, это бессмысленно…

Я начал пересказывать ему все, что вычитал у Старка. Олаф лежал неподвижно, молча, но я знал, что слушает он внимательно.

Когда я кончил, он заговорил не сразу.

— Ты читал Шелли?

— Нет. Какого Шелли?

— Нет? Я думал, ты все читал… Это был астроном двадцатого века. Мне случайно попалась одна его работа именно об этом. Очень похоже на твоего Старка.

— Что ты говоришь? Это невозможно! Шелли не мог знать… лучше прочти Старка сам.

— И не подумаю. Знаешь, что это? Ширма.

— То есть?

— Да, кажется, я знаю, что произошло.

— Ну?

— Бетризация.

Я вскочил.

— Ты думаешь?!

Он открыл глаза.

— Ясно. Не летают — и никогда уж не полетят. Будет все хуже. Ням-ням. Одно огромное ням-ням. Они не могут смотреть на кровь. Не могут подумать о том, что произойдет, если…

— Постой, — сказал я, — это невозможно. Ведь есть же врачи. Должны быть хирурги…

— Так ты не знаешь?

— Чего?

— Врачи только планируют операции. Выполняют их роботы.

— Не может быть!

— Я тебе говорю. Сам видел. В Стокгольме.

— А если вдруг понадобится вмешательство врача?

— Не знаю толком. Кажется, есть какое-то средство, которое частично уничтожает последствия бетризации, правда, очень ненадолго, а уж стерегут они его — представить себе не можешь. Тот,

кто мне говорил, чего-то недосказывал — боялся.

— Чего?

— Не знаю. Эл, мне кажется, они сделали ужасную вещь. Они убили в человеке человека.

— Ну, этого ты утверждать не можешь, — тихо сказал я. — В конце концов…

— Подожди. Ведь это очень просто. Тот, кто убивает, готов к тому, что и его могут убить, да?

Я молчал.

— И поэтому в известном смысле необходимо, чтобы он мог рисковать всем. Мы можем. Они нет. Поэтому нас так боятся.

— Женщины?

— Не только женщины. Все. Эл!

Он вдруг сел.

— Что? — спросил я.

— Тебе дали гипногог?

— Гипно… Аппарат для обучения во время сна? Да.

— Ты пользовался им?! — почти крикнул он.

— Нет… а что?

— Твое счастье. Выкинь его в бассейн.

— Почему? А ты им пользовался?

— Нет. Меня что-то подтолкнуло, и я выслушал его не во сне. Хотя инструкция это запрещает. Ну, ты себе представить не можешь, что это такое!

Я тоже сел.

— Ну и что?

Он смотрел хмуро.

— Сладости. Сплошная кондитерская! Уверяю тебя. Чтоб ты был мягким, чтоб ты был вежливым. Чтобы мирился с любой неприятностью, если кто-то тебя не понимает или не хочет быть к тебе добрым — женщина, понимаешь? — то виноват ты, а не она. Что высшим благом является общественное равновесие, стабилизация. И так далее и тому подобное — одно и то же. А вывод один: жить тихо, писать мемуары, не для издания, а так, для себя, заниматься спортом и учиться. Слушаться старших.

— Это же суррогат бетризации! — проворчал я.

— Разумеется. Там еще много всего было: например, нельзя применять ни к кому ни силы, ни грубого тона, а уж ударить человека — это позор, даже преступление, потому что это вызовет страшный шок. Драться нельзя независимо от обстоятельств, потому что только звери дерутся…

— Постой-ка, — сказал я, — а если из заповедника убежит дикий зверь… Да, я забыл… диких зверей уже нет.

— Диких зверей уже нет, — повторил Олаф, — но есть роботы.

— Ну и что? Ты хочешь сказать, что им можно дать приказ убить?

— Ну да.

— Откуда ты знаешь?

— Твердо не знаю. Но должны же они быть готовы к крайностям; ведь даже бетризованный пес может взбеситься. Скажешь, нет?

— Но… но ведь это… Погоди! Значит, они все-таки могут убивать? Отдавая приказы! Разве это не все равно: я сам убью или отдам приказ?

— Для них нет. Убийство, мол, в крайнем случае, понимаешь, перед лицом опасности, угрозы, как с бешенством, к примеру. Обычно этого не случается. Но если бы мы…

— Мы?

— Да, например, мы двое, если бы мы что-то, ну, понимаешь… то, конечно, нами займутся роботы, не люди. Они не могут. Они добрые.

Он с минуту молчал. Его широкая, покрасневшая от солнца и песка грудь стала вздыматься быстрей.

— Эл! Если б я знал! Если б я это знал! Если… бы… я… это… знал…

— Перестань.

— С тобой что-то случилось?

— Да.

— Знаешь, о чем я?

— Да. Были две — одна пригласила меня сразу, как только я вышел с вокзала. Вернее, нет. Я заблудился на этом проклятом вокзале. Она повела меня к себе.

— Она знала, кто ты?

— Я сказал ей. Сначала она боялась, потом… вроде как пожалела, что ли, не знаю, а потом перепугалась по-настоящему. Я пошел в отель. На другой день… знаешь, кого я встретил? Ремера!

— Не может быть! Сколько же ему? Сто семьдесят?!

— Нет, это его сын. Впрочем, и ему почти полтораста лет. Мумия. Что-то ужасное! Мы поговорили. И знаешь? Он нам завидует…

— Есть чему…

— Он этого не понимает. Ну, вот… А потом одна актриса. Их называют реалистками. Она была от меня в восторге. Еще бы, настоящий питекантроп! Я поехал с ней, а наутро сбежал. Это был дворец. Великолепие! Расцветающая мебель, ходячие стены, ложе, угадывающее мысли и желания… да.

— Хм. И она не боялась?

— Нет. Боялась, но выпила что-то, не знаю, что это было, может, какой-то наркотик. Перто или

что-то в этом роде.

— Перто?!

— Да. Ты знаешь, что это? Ты пробовал?

— Нет, — сказал он медленно. — Не пробовал. Но именно так называется то, что ликвидирует…

— Бетризацию? Не может быть?!

— Так мне сказал один человек.

— Кто?

— Не могу его назвать, я дал слово.

— Ладно. Так поэтому… поэтому она… — Я вскочил.

— Садись.

Я сел.

— А ты? — сказал я. — А то я все о себе да о себе…

— Я ничего. То есть ничего у меня не получилось. Ничего… — повторил он еще раз.

Я молчал.

— Как называется это место? — спросил он.

— Клавестра. Но сам городок в нескольких милях отсюда. Знаешь что, давай съездим туда. Я хотел отдать в ремонт машину. Вернемся напрямик — пробежимся немного. А?

— Эл, — сказал он медленно, — старый конь…

— Что?

Его глаза улыбались.

— Хочешь изгнать дьявола легкой атлетикой? Осел ты!

— Одно из двух: или конь, или осел, — сказал я. — И что в этом плохого?

— То, что ничего из этого не выйдет. Тебе не случалось задеть кого-нибудь из них?

— Обидеть? Нет. Зачем?

— Не обидеть, а задеть.

Я только теперь понял.

— Не было повода. А что?

— Не советую.

— Почему?

— Это все равно что поднять руку на кормилицу. Понимаешь?

Я старался скрыть удивление. Олаф был на корабле одним из самых сдержанных.

— Да, я оказался последним идиотом, — сказал Олаф. — Это было в первый день. Вернее, в первую ночь. Я не мог выйти из почты — там нет дверей, только этакие вращающиеся… Видел?

— Вращающаяся дверь?

— Да нет. Это, кажется, связано с их «бытовой гравитацией». В общем, я крутился, как в колесе, а один тип с девчонкой показывал на меня пальцем и смеялся…

Я почувствовал, что кожа на лице становится

тесной.

— Это ничего, что кормилица, — сказал я. — Надеюсь, больше он уже не будет смеяться.

— Нет. У него переломана ключица.

— И тебе ничего не сделали?

— Нет. Я ведь только что вышел из машины, а он меня спровоцировал — я его не сразу ударил, Эл. Я только спросил, что в этом смешного, если я так долго тут не был, а он снова засмеялся и сказал, показывая пальцем вверх: «А, из-за этого обезьяньего цирка».

— «Обезьяньего цирка»?!

— Да. И тогда…

— Подожди. При чем тут «обезьяний цирк»?

— Не знаю. Может, он слышал, что астронавтов крутят в центрифугах. Не знаю, я с ним больше не разговаривал. Вот так. Меня отпустили, только теперь Адапт на Луне обязан лучше обрабатывать прибывших.

— А должен еще кто-нибудь вернуться?

— Да. Группа Симонади, через восемнадцать лет.

— Тогда у нас есть время.

— Уйма.

— Но, признайся, они кроткие, — сказал я. — Ты сломал парню ключицу, и тебя отпустили безо

всякого…

— У меня такое впечатление, что это из-за цирка, — сказал он. — Им самим перед нами… знаешь как. Ведь они же не дураки. Да и вообще вышел бы скандал. Эл, дружище, ты же ничего не знаешь.

— Ну?

— Знаешь, почему о нашем прибытии ничего не сообщили?

— Кажется, было что-то в реале. Я не видел, но кто-то мне говорил.

— Да, было. Ты помер бы со смеху, если б это увидел. «Вчера утром на Землю вернулся экипаж исследователей внепланетного пространства. Его члены чувствуют себя хорошо. Начата обработка научных результатов экспедиции». Конец. Точка. Все.

— Не может быть!

— Даю слово. А знаешь, почему они так сделали? Потому что боятся нас. Поэтому и раскидали нас по всей Земле.

— Нет. Этого я не понимаю. Они же не идиоты. Ты сам только что сказал. Не думают же они, что мы действительно хищники, что начнем на людей кидаться?

— Если б они так думали, то не впустили бы

нас. Нет, Эл. Речь не о нас. Тут дело серьезней. Неужели ты не понимаешь?

— Видимо, поглупел. Говори.

— Большинство не отдает себе в этом отчета…

— В чем?

— В том, что гибнет дух поиска. О том, что нет экспедиций, они знают. Но не думают об этом. Считают, что экспедиций нет, потому что они не нужны, и все. Но есть люди, которые прекрасно видят и знают, что происходит. И понимают, какие это будет иметь последствия. И даже уже имеет.

— Ну?

— «Ням-ням. Ням-ням во веки веков». Никто уже не полетит к звездам. Никто уже не решится на опасный эксперимент. Никто никогда не испытает на себе нового лекарства. Что, они не знают об этом? Знают! И если б сообщили, кто мы такие, что мы сделали, зачем летали, что это было, то никогда, понимаешь, никогда не удалось бы скрыть этой трагедии!!!

— «Ням-ням»? — спросил я, применяя его выражение. Может быть, постороннему слушателю оно показалось бы смешным, но мне было не до смеха.

— Вот именно. А что, по-твоему, это не траге-

дия?

— Не знаю. Эл, слушай. В конце концов, понимаешь, для нас это есть и навсегда останется чем-то великим. Если уж мы дали отнять у себя эти годы и все остальное, значит, мы считаем, что это самое важное. Но может, это не так? Нужно быть объективным. Ну, скажи сам: чего мы достигли?

— Как чего?

— Ну, разгружай мешки. Высыпай все, что привез с Фомальгаута.

— Ты спятил?

— Вовсе нет. Какая польза от нашей экспедиции?

— Мы были пилотами, Эл. Спроси Гимму, Турбера…

— Ол, не морочь мне голову. Мы были там вместе, и ты прекрасно знаешь, что они делали; что делал Вентури, пока не погиб, что делал Турбер, — ну, чего ты так смотришь? А что мы привезли? Четыре воза разных анализов: спектральных, таких, сяких, пробы минералов, потом еще ту живую метаплазму, или как там называется эта пакость с беты Арктура. Нормерс проверил свою теорию гравитационно-магнитных завихрений, и еще оказалось, что на планетах типа С Меоли могут существовать силиконовые тетраплоиды,

а не триплоиды, а на том спутнике, где чуть не погиб Ардер, нет ничего, кроме паршивой лавы и пузырей размером с небоскреб. И для того чтобы убедиться, что эта лава застывает такими громадными, идиотскими пузырями, мы бросили псу под хвост десять лет и вернулись сюда, чтоб стать посмешищами, чудовищами из паноптикума; так на кой черт мы туда лезли? Можешь ты мне сказать? Зачем это нам было нужно?..

— Потише, — оборвал он.

Я разозлился. И он разозлился. Глаза у него сузились. Я подумал, что мы, чего доброго, подеремся, и у меня начали подергиваться губы. И тогда он вдруг тоже улыбнулся.

— Ты старый конь, — сказал он. — Ты умеешь донести человека до бешенства.

— Ближе к делу, Олаф, ближе к делу!

— К делу? Ты сам чепуху городишь. Ну а если б мы привезли слона, у которого восемь ног и который изъясняется чистейшей алгеброй, так что, ты был бы доволен? Что ты, собственно, ожидал на этом Арктуре? Рай? Триумфальную арку? В чем дело? Я за десять лет не слыхал от тебя столько глупостей, сколько ты выпалил сейчас в одну минуту.

Я глубоко вздохнул.

— Олаф, не делай из меня идиота. Ты прекрасно знаешь, что я имел в виду. Люди могут прожить и без этого…

— Еще бы!

— Подожди. Могут жить, и даже если дело обстоит так, как утверждаешь, что они перестали летать из-за бетризации, то стоило ли, следовало ли нам платить за это такой ценой, — вот тебе проблема, которую предстоит решить, дорогой мой.

— Да? А, допустим, ты женишься. Что ты так смотришь? Не можешь жениться? Можешь. Я тебе говорю, что можешь. И у тебя будут дети. Ну и ты понесешь их на бетризацию с песней на устах, да?

— Не с песней. Но что я смогу сделать? Не могу же я воевать со всем миром…

— Ну, да пошлют тебе счастье небеса черные и голубые, — сказал он. — А теперь, если хочешь, можем поехать в город.

— Ладно, — сказал я, — обед будет через два с половиной часа, успеем.

— А если опоздаем, так ничего уж и не дадут?

— Дадут, но…

Я покраснел под его взглядом. Словно не заметив этого, он начал отряхивать песок с босых

ног. Мы пошли наверх и, переодевшись, поехали на автомобиле в Клавестру. Нашли мастерскую. Мне показалось, что я заметил удивление в стеклянных глазах робота, который осматривал мою машину. Мы оставили ее и пошли пешком. Оказалось, что есть две Клавестры — старая и новая; в старой, местном промышленном центре, я был накануне с Марджером. Новая — модная дачная местность — кишмя кишела людьми, почти сплошь молодыми, зачастую подростками. В ярких, блестящих одеждах юноши выглядели так, словно нарядились римскими легионерами, — их костюмы сверкали на солнце, как коротенькие панцири. Много девушек, в большинстве красивых, нередко в купальниках, более смелых, чем все, что я до сих пор видел. Идя с Олафом, я чувствовал на себе взгляды всей улицы. Группы ярко одетой молодежи, завидев нас, останавливались под пальмами. Мы были выше всех, люди оборачивались нам вслед. Мы испытывали страшную неловкость.

Когда мы уже вышли на шоссе и свернули полями на юг, к дому, Олаф вытер платком лоб.

— Черт бы побрал все это, — сказал он.

— Придержи для более подходящего случая…

Он кисло улыбнулся.

— Эл!

— Что?

— Знаешь, как это выглядело? Как сцена в киностудии. Римляне, куртизанки и гладиаторы.

— Гладиаторы — это мы?

— Вот именно.

— Побежали? — сказал я.

Мы бежали по полю. До дома было миль пять. Но мы слишком забрали вправо, и пришлось возвращаться. Все равно мы еще успели искупаться до обеда.

V

Я постучал в комнату Олафа.

— Войди, если свой, — послышался его голос.

Он стоял посреди комнаты совершенно голый и из фляги опрыскивал грудь светло-желтой жидкостью, тут же застывающей в пушистую массу.

— Знаменитое жидкое белье? — сказал я. — Как ты ухитряешься это делать?

— Я не захватил другой рубашки, — буркнул он. — А тебе это не нравится?

— Нет. А тебе?

— У меня рубашка порвалась. — И, видя мой удивленный взгляд, он добавил, поморщившись: — Все из-за того парня, что улыбался, понимаешь?

Я промолчал. Он натянул старые брюки — я помнил их еще по «Прометею», — и мы спустились в столовую. На столе стояли только три прибора. В столовой — никого.

— Нас будет четверо, — заметил я белому роботу.

— Простите, нет, Марджер выехал. Вы, она и ваш друг будете обедать втроем. Подавать или

ждать ее?

— Пожалуй, подождем, — поспешил ответить Олаф.

Хороший парень. В эту минуту вошла она. На ней была та же юбка, что вчера, волосы слегка влажные, словно только что вышла из воды. Я представил ей Олафа. Он держался спокойно и с достоинством. Я никогда не умел быть таким.

Мы немного поговорили. Она сказала, что в связи с работой муж вынужден еженедельно выезжать на три дня и что вода в бассейне, несмотря на солнце, не такая уж теплая. Беседа быстро оборвалась, и как я ни старался придумать что-нибудь, это мне не удавалось; я погрузился в молчание и принялся за еду, созерцая этих двух, сидевших напротив, таких различных людей. Заметил, что Олаф присматривается к ней, но только в те минуты, когда к ней обращался я и она смотрела в мою сторону. Его лицо ничего не выражало, как будто он все время думал о чем-то совершенно постороннем.

В конце обеда пришел белый робот и сообщил, что вода в бассейне, как пожелала дама, к вечеру будет подогрета. Она поблагодарила и ушла к себе. Мы остались вдвоем. Олаф посмотрел на меня, и я снова отчаянно покраснел.

— Как могло случиться, — сказал Олаф, беря протянутую сигарету, — что субъект, который смог влезть в ту вонючую дыру на Керенее, старый конь — нет, не конь, скорее старый стопятидесятилетний носорог, начинает…

— Прошу тебя, перестань, — проворчал я. — Если хочешь знать, я бы лучше еще раз полез туда…

Я не докончил.

— Все. Больше не буду. Честное слово. Но, знаешь, Эл, откровенно говоря, я тебя понимаю. И даю голову на отсечение, что ты даже не знаешь почему.

Я кивнул головой туда, куда она ушла.

— Почему она?..

— Да. Знаешь?

— Нет. Ты тоже не знаешь.

— Знаю. Сказать?

— Пожалуйста. Только без хамства.

— Ты что, действительно спятил? — обиделся он. — Все это очень просто. Но у тебя всегда был один недостаток — ты видишь не то, что у тебя под носом, а лишь то, что далеко: всякие там Канторы, Корбазилии…

— Ну, ну… давай, давай!

— Я знаю, что это детский лепет, но мы ведь

остановились в своем развитии с того момента, когда за нами затянули те шестьсот восемьдесят болтов, ясно?

— И что же дальше?

— А то, что она совершенно такая же, как девчонки в наше время. У нее нет этой красной пакости в ноздрях, и тарелок в ушах, и светящихся косм на голове, и она не лоснится от золота. Просто девчонка, как те, что бывали в Кеберто или Аппрену. Я помню совершенно таких же. Вот и все.

— Черт меня побери, — сказал я тихо. — Пожалуй, так. Да, так, только есть небольшая разница.

— Какая?

— Я тебе уже говорил. В самом начале. С теми я вел себя иначе. И потом, откровенно говоря, я никогда не думал… считал себя спокойной, тихой заводью.

— Действительно! Жаль, я не сфотографировал тебя, когда ты вылезал из той дыры на Керенее. Тогда бы ты увидел тихую заводь! Я думал, что… эх!

— Оставим в покое Керенею, ее пещеры и все прочее, — предложил я. — Знаешь, Олаф, прежде чем приехать сюда, я был у одного доктора, Жуффона. Очень симпатичный старик. Ему пере-

валило за восемьдесят, но…

— Такова наша судьба, — спокойно заметил Олаф, выпуская изо рта дым и глядя, как он расплывается над султанами бледно-лиловых цветов, похожих на разросшиеся гиацинты. — Лучше всего мы чувствуем себя среди этаких древнющих стариканов. С та-акой вот бородищей. Когда я об этом думаю, меня просто трясет. Знаешь что? Давай купим себе несколько кур, будем им головы сворачивать.

— Перестань дурить. Так вот, этот доктор наговорил мне кучу умнейших вещей. Что друзей-ровесников у нас быть не может, близких нет, и остаются нам только женщины, но быть все время с одной сейчас труднее, чем с несколькими. И он прав. Я уже убедился.

— Я знаю, Эл, что ты умней меня. Ты всегда любил всякие заумные штучки. Чтобы было чертовски трудно, и чтобы нельзя было с первого раза, и чтобы сначала семь потов сошло. Иначе тебе не нравилось. Не смотри так на меня. Я тебя не боюсь, ясно?

— Слава небу! Этого еще не хватало.

— Да… Так что я хотел сказать? Ага. Понимаешь, сначала я думал, что ты хочешь быть сам по себе и поэтому так вкалываешь. Что ты хочешь быть

чем-то большим, чем пилот… Я так и ждал, когда ты начнешь задирать нос. И знаешь, когда ты принимался мучить Нормерса и Вентури своими рассуждениями и очертя голову бросался в этакие ученые дискуссии, я уже думал, что вот-вот начнется. Но потом был тот взрыв, помнишь?

— Ночью.

— Да. И Керенея, и Арктур, и тот спутник. Дружище, этот спутник мне до сих пор иногда снится, а однажды так я из-за него с кровати свалился. Стало быть, спутник. Да, ну и что… видишь? Верно, склероз начинается. Все время забываю… Значит, потом было все это, и я убедился, что… В общем, тебе так нравится, и иначе ты не умеешь. Помнишь, как ты просил у Вентури его личный экземпляр той книжки, красненькой? Что это было?

— Топология гиперпространства.

— Вот-вот. И он сказал: «Это, Брегг, для тебя слишком сложно. У тебя нет подготовки».

Он так точно воспроизвел голос Вентури, что я рассмеялся.

— Он был прав, Олаф. Это было очень трудно.

— Сначала. Но ведь потом ты одолел, скажешь, нет?

— Одолел. Но… удовольствия мне это не доста-

вило. Ты же знаешь почему. Бедняга Вентури…

— Молчи. Теперь неизвестно, кто кого должен жалеть.

— Во всяком случае, Вентури уже никого не сможет пожалеть. Ты тогда был на верхней палубе, да?

— Я?! На верхней? Да я же стоял рядом с тобой!

— Да, правда. Не пусти он охлаждения на полную мощность, возможно, он отделался бы ожогами. Как Арне. Должно быть, Вентури просто растерялся.

— Ну и ну! Нет, ты просто изумителен! Ведь Арне все равно погиб!

— Пять лет спустя. Пять лет — это все же пять лет.

— Таких лет?

— Сейчас ты сам так говоришь, а тогда, возле бассейна, когда я начал, взъелся на меня.

— Да, это было невыносимо и великолепно. Ну, признайся. Скажи сам — впрочем, что тебе говорить? Когда ты вылез из той дыры на Ке…

— Оставь, наконец, в покое эту дыру!

— Не оставлю. Не оставлю, потому что только тогда я понял, каков ты. В то время мы еще не очень хорошо знали друг друга. Когда, это было месяц спустя, Гимма сказал мне, что Ардер летит

с тобой, я подумал, что… ну, в общем, не знаю! Я подошел к Ардеру, но смолчал. Он, конечно, сразу почувствовал. «Олаф, — сказал он, — не злись. Ты мой лучший друг, но сейчас я лечу с ним, а не с тобой, потому что…» Знаешь, как он сказал?

— Нет, — сказал я. К горлу подкатился комок.

— «Потому что только он один спустился в „дыру“. Он один. Никто не верил, что туда можно спуститься. Он сам не верил». Ты верил, что вернешься?

Я молчал.

— Видишь! «Мы вернемся вместе, — сказал Ардер, — или не вернемся совсем»…

— И я вернулся один… — сказал я.

— И ты вернулся один. Я тебя не узнал. Как же я тогда испугался! Я был внизу, у насосов.

— Ты?

— Я. Смотрю, кто-то чужой. Совершенно чужой. Я думал, это галлюцинация… У тебя даже скафандр был совершенно красным.

— Ржавчина. Лопнул шланг.

— Знаю. Ты мне говоришь? Ведь это же я потом латал его. Как ты выглядел… Да, но только позднее…

— С Гиммой?

— Ага. Этого в протоколах нет. И ленту выреза-

ли через неделю, кажется, сам Гимма. Я думал, ты тогда его убьешь.

— Не говори об этом, — сказал я, чувствуя, что еще минута, и я начну дрожать. — Не надо, Олаф. Прошу тебя.

— Только без истерики! Ардер был мне ближе, чем тебе.

— Что значит «ближе», «дальше», какое это имеет значение?! Болван ты, Олаф. Если бы Гимма дал ему резервный вкладыш, он бы сейчас сидел с нами! Гимма экономил на всем, боялся потерять лишний транзистор, а людей потерять не боялся! — Я осекся. — Олаф! Это чистейшее безумие. Пора забыть.

— Видно, Эл, не можем. Во всяком случае, пока мы вместе. Потом уже Гимма никогда…

— Оставь в покое Гимму! Олаф, Олаф! Конец… Точка. Не хочу больше слышать ни слова!

— А о себе я тоже не могу говорить?

Я пожал плечами. Белый робот хотел убрать со стола, но только заглянул в комнату и вышел. Его, наверное, испугали наши возбужденные голоса.

— Скажи, Эл, чего ты, собственно, злишься?

— Не притворяйся.

— Нет, серьезно.

— Как это «чего»? Это же случилось из-за ме-

ня…

— Что из-за тебя?

— С Ардером.

— Что-о?

— Конечно. Если бы я сразу настоял, перед стартом, Гимма дал бы.

— Ну, знаешь! Откуда тебе было знать, что подведет именно радио? А если бы что-нибудь другое?

— Если бы! Если бы! Не было никакого «если бы». Было радио.

— Постой. Так ты с этим носился шесть лет и даже не пикнул?

— А что мне было «пикать»? Я думал, это и так ясно.

— Ясно? Черное небо! Что ты плетешь, человече?! Опомнись! Если бы ты это сказал раньше, каждый бы решил, что ты рехнулся. А когда у Эннессона расфокусировался пучок, то это тоже ты? Да?

— Нет. Он… Ведь расфокусировка случается…

— Я знаю. Все знаю. Не меньше тебя. Эл, я не успокоюсь, пока ты не скажешь.

— Что?

— Что это только твое воображение. Это же дикая чушь. Ардер сам бы тебе сказал это, если

б мог.

— Благодарю.

— Слушай, Эл, я тебе сейчас так врежу…

— Поосторожней. Я посильнее.

— А я злее, понимаешь? Болван!

— Не кричи так. Мы тут не одни.

— Ладно. Все. Но это была чушь или нет?

— Нет.

Олаф так втянул носом воздух, что у него побелели ноздри.

— Почему нет? — спросил он почти нежно.

— Потому что я уже раньше приметил эту… эту жадную лапу Гиммы. Я обязан был предвидеть это и взять Гимму за глотку сразу, а не после того, как я вернулся с известием о гибели Ардера. Я был чересчур мягок. Вот в чем дело.

— Ну ладно. Ладно. Ты был слишком мягок… Да? Нет! Я… Эл! Я не могу. Я уезжаю.

Он вскочил из-за стола. Я тоже.

— Ты что, с ума спятил! — крикнул я. — Он уезжает! Ха! Из-за того, что…

— Да, да. А что, прикажешь слушать твои бредни? И не подумаю. Ардер не отвечал. Так?

— Отстань.

— Не отвечал? Говори.

— Не отвечал.

— У него могла быть утечка?

Я молчал.

— У него могла быть тысяча различных аварий? А может быть, он вошел в зону отражения? Может, в этой зоне погас его сигнал, когда он потерял космическую скорость в завихрениях? Может, над пятном у него размагнитились излучатели, и…

— Довольно!

— Не хочешь признать, что я прав? Стыдись!

— Я же ничего не говорю.

— Ага. Значит, могло все-таки случиться что-нибудь такое, о чем я сказал?

— Могло.

— Тогда почему ты уперся, что это было радио? Радио, и больше ничего, только радио?

— Может, ты и прав… — сказал я. Я вдруг почувствовал страшную усталость, и мне все стало безразлично. — Может, ты и прав, — повторил я. — Радио… просто наиболее правдоподобное объяснение, понимаешь?.. Нет. Пожалуйста, помолчи. Мы и так говорили об этом в десять раз больше, чем надо. Лучше помолчи.

Олаф подошел ко мне.

— Конь… конь несчастный… у тебя слишком много этого добра, ясно?

— Какого еще добра?

— Чувства ответственности. Во всем надо знать меру. Что ты собираешься делать?

— Ты о чем?

— Сам знаешь…

— Не знаю.

— Плохо дело, а?

— Хуже некуда.

— Не поехать ли тебе со мной? Или куда-нибудь одному? Если хочешь, я помогу тебе это устроить. Вещи могу взять я, или ты оставишь их, или…

— Думаешь, мне нужно удирать?

— Ничего я не думаю. Но когда я смотрю на тебя и вижу, как ты помаленьку выходишь из себя, чуточку, так, знаешь, как минуту назад, то…

— То что?

— То начинаю думать.

— Не хочу я уезжать. Знаешь, что я тебе скажу? Я не двинусь отсюда никуда. Разве что…

— Что?

— Ничего. Тот, в мастерской, что он сказал? Когда будет готова машина? Завтра или уже сегодня? Я забыл.

— Завтра утром.

— Хорошо. Смотри, смеркается. Проболтали весь день…

— Дай тебе небо поменьше такой болтовни!

— Я пошутил. Пошли купаться?

— Нет. Я бы что-нибудь почитал. Дашь?

— Бери все, что хочешь. Ты умеешь обращаться с этими стекляшками?

— Да. Надеюсь, у тебя нет этого… чтеца с этаким слащавым голоском.

— Нет. Только оптон.

— Чудесно. Тогда возьму. Ты будешь в бассейне?

— Да. Только схожу с тобой наверх, надо переодеться.

Я дал ему несколько книг, в основном исторических, и одну о стабилизации популяционной динамики — это его интересовало. И биологию с большой статьей о бетризации. А сам переоделся и принялся искать плавки, которые куда-то запропастились. Так и не нашел. Пришлось взять черные плавки Олафа. Я накинул купальный халат и вышел из дома.

Солнце уже зашло. С запада, затягивая более светлую часть неба, надвигалась лавина туч. Я сбросил халат на песок, остывший после дневного зноя, и сел, касаясь концами пальцев воды. Разговор взволновал меня больше, чем я думал. Смерть Ардера торчала во мне как заноза. Может,

Олаф прав. Может, это только закон памяти, никогда не примиряющейся…

Я встал и без разгона нырнул головой вниз. Вода была теплая, а я приготовился к холодной и немного растерялся от неожиданности. Выплыл. Вода была действительно слишком теплая, словно я плавал в супе. Когда я вылезал с противоположной стороны бассейна, оставляя на стартовом столбике влажные отпечатки рук, что-то кольнуло меня в сердце. История Ардера перенесла меня в совершенно иной мир, а сейчас, может, потому, что вода была теплая, что она должна была быть теплой, я вспомнил девушку, и это было совсем так, будто я вспомнил что-то ужасное, несчастье, с которым я должен справиться, а не могу.

Может, и это я только втемяшил себе в голову. Я вертел в голове эту мысль и так и эдак, неуверенно, сжавшись в надвигающихся сумерках. Я уже едва различал собственное тело, загар скрывал меня в темноте, тучи затягивали все небо, и неожиданно, слишком быстро наступила ночь. Кто-то шел со стороны дома. Я пригляделся и различил в темноте ее белую купальную шапочку. Меня охватил страх. Я медленно поднялся, хотел бежать, но она заметила меня на фоне неба и

тихо спросила:

— Брегг?

— Я. Хотите искупаться? Я вам… не помешаю. Я уже ухожу…

— Почему? Вы мне не мешаете… Вода теплая?

— Да. На мой взгляд, даже слишком, — сказал я.

Она подошла к краю бассейна и, легко оттолкнувшись, прыгнула. Я видел только ее силуэт. Костюм был темный. Раздался всплеск. Она вынырнула у самых моих ног.

— Ужас! — воскликнула она, отплевываясь. — Что он наделал… Надо напустить холодной. Вы не знаете, как это делается?

— Нет. Но сейчас узнаю.

Я прыгнул через ее голову. Нырнул глубоко, так что вытянутыми руками достал до дна и поплыл над ним, то и дело касаясь бетона. Под водой, как это обычно бывает, было немного светлей, чем наверху, и мне удалось рассмотреть выход труб. Они находились в стене напротив дома. Я выплыл, уже немного задыхаясь, потому что долго пробыл под водой.

— Брегг! — послышался ее голос.

— Я тут. Что случилось?

— Я испугалась… — сказала она тише.

— Чего?

— Вас так долго не было…

— Я нашел. Сейчас пустим воду! — ответил я и побежал к дому. Можно было прекрасно обойтись без этого геройского ныряния: краны были на виду, в колонне напротив веранды. Я пустил холодную воду и вернулся к бассейну.

— Готово. Но придется немного подождать…

— Хорошо.

Она стояла под трамплином, а я — у короткой стенки бассейна, словно боялся приблизиться. Потом медленно, как бы нехотя подошел к ней. Глаза уже привыкли к темноте. Я мог даже различить черты ее лица. Она смотрела в воду. Ей очень шла эта белая шапочка. И казалось, она немного выше, чем в платье.

Я торчал возле нее долго, пока наконец не почувствовал себя неловко. Может быть, поэтому я вдруг сел. «Дубина, чурка!» — пытался я придумать для себя название пообиднее, по ничего не выдумал. Тучи сгущались, темнота росла. Становилось довольно прохладно.

— Вам не холодно?

— Нет. Брегг?

— Да?

— Что-то вода не прибывает…

— Я открыл спуск… Теперь, пожалуй, уже хватит. Пойду закрою.

Когда я возвращался, мне пришло в голову, что можно было бы позвать Олафа, и я чуть было не рассмеялся вслух: так это было глупо. Я боялся ее…

Я нырнул и тут же выплыл.

— Пожалуй, можно. Если я переборщил с холодной, так вы скажите; добавим теплой…

Теперь вода явно спадала, потому что отвод все еще был открыт. Девушка — я видел ее стройную тень на фоне неба — как будто колебалась. «Может быть, ей расхотелось, может, она вернется домой», — мелькнула у меня мысль, и тут же я почувствовал как бы облегчение.

В этот момент она прыгнула в воду и вскрикнула: в бассейне стало уже совсем мелко, и я не успел ее предупредить. Она, наверно, сильно ударилась ступнями о дно, покачнулась, но не упала. Я кинулся к ней:

— Вам больно?

— Нет.

— Это из-за меня.

Мы стояли по пояс в воде. Она поплыла. Я вылез на берег, побежал к дому, закрыл кран спуска и вернулся. Ее нигде не было видно. Я тихо вошел в

воду, переплыл бассейн, перевернулся на спину и, легко шевеля руками, опустился на дно. Открыв глаза, я увидел слабо поблескивающую, изборожденную небольшими волнами поверхность воды. Меня медленно вынесло наверх, я поплыл и увидел ее. Она стояла у самой стенки бассейна. Я подплыл к ней. Трамплин остался на другой стороне, тут было мелко, так что я сразу встал на ноги и пошел к берегу, шумно рассекая воду. Я различил ее лицо. Она смотрела на меня: то ли от стремительности последних шагов — потому что в воде трудно идти, но нелегко и остановиться сразу, — то ли уж и сам не знаю почему, во всяком случае, я очутился совсем рядом с ней. Может быть, ничего бы и не произошло, если бы она отодвинулась, но она осталась на месте, держа руку на верхней перекладинке лестницы, а я был уже слишком близко, чтобы что-нибудь сказать — спрятаться за ничего не значащий разговор.

Я крепко обнял ее, она была холодная и ускользающая, как рыба, как странное чужое существо, и неожиданно в этом прикосновении, таком холодном, словно мертвом — потому что она была совершенно неподвижна, — я отыскал жаркое пятно, ее губы, и поцеловал их, а потом целовал и целовал без конца — это было полнейшее

сумасшествие. Она не защищалась. Не сопротивлялась, словно окаменела. Я держал ее за плечи, поднял ее лицо вверх, хотел его видеть, заглянуть ей в глаза, но было уже так темно, что я мог только догадываться, где они. Она не дрожала. Гулко билось сердце, то ли мое, то ли ее. Так мы стояли, потом она медленно стала освобождаться. Я тотчас отпустил ее. Она поднялась по лесенке на берег. Я за ней, и опять обнял ее, как-то неловко, боком. Она задрожала. Задрожала только теперь. Я попытался сказать что-нибудь, но язык не слушался меня. И я лишь продолжал обнимать ее, прижимал к себе; мы стояли, потом она высвободилась, но не оттолкнула меня, а высвободилась, просто так, будто меня вообще не было. Я опустил руки. Она отошла. Свет падал из моего окна, и в этом свете я увидел, как она подняла халат и, не надевая его, медленно стала подниматься по ступеням. Сквозь дверь из зала тоже пробивался свет. Капли воды сверкнули на ее плечах и бедрах. Дверь закрылась. Она исчезла.

На миг мне захотелось броситься в воду и больше не выплывать из нее. Не шутя, всерьез. Никогда еще у меня в голове не было такого сумбура. Не в голове — там, где должна быть голова. Все вместе взятое было совершенно бес-

смысленно, невероятно, и, что самое ужасное, я не понимал, что же это все означало и что мне теперь делать. Только почему она была такой… такой… Неужели ею владел страх? Ах, ерунда, дался мне этот страх. Это было что-то другое. Но что? Откуда мне знать? Может быть, Олаф знает? Черт, неужели я, как сопливый щенок, поцеловав девчонку, помчусь к Олафу за советом?

«Да, — подумал я, — и помчусь». Я направился к дому, поднял по пути свой халат, стряхнул с него песок. В зале все еще горел свет. Я подошел к ее двери. «Может, она впустит меня», — подумал я. Если бы она меня впустила, я потерял бы к ней интерес. И тогда, возможно, все это кончится. Или же я получу по морде. Нет. Они добренькие… они бетризованные, они не могут. Она мне даст немного молочка, это ведь очень полезно… Я стоял так минут пять и вспоминал подземелья Керенеи, ту прославленную дыру, о которой говорил Олаф. Благословенная дыра! Кажется, это был старый вулкан и Ардер застрял там среди скал и не мог выбраться, а лава поднималась. Собственно, даже не лава, Вентури сказал, что это какой-то особый гейзер, но это было уже потом. Ардер… мы слышали его голос. По радио. Я спустился и вытащил его. Боже! Лучше бы десять раз

Керенея, чем эта дверь! И молчание, ни малейшего шороха. Ничего!

Была бы хоть дверная ручка. Нет, какая-то плитка. У меня наверху такой не было. Что это — замок или ручка? Откуда мне знать — я был все тем же дикарем с Кереней.

Я поднял руку и заколебался. Что, если дверь не откроется? Одних воспоминаний об этом мне хватило бы надолго. И я чувствовал, что чем дольше стою, тем меньше у меня остается сил, словно они вытекали из меня. Я коснулся плитки. Она не поддалась. Я нажал сильней.

— Это вы? — услышал я ее голос. Значит, она стояла за дверью!

— Да.

Тишина. Полминуты. Минута.

Дверь открылась. Она стояла на пороге. Пушистый утренний халат. Рассыпавшиеся по воротнику волосы. Подумать только, лишь теперь я заметил, что они каштановые.

Дверь была только полуоткрыта. Она придерживала ее. Когда я шагнул, она отступила. Дверь сама, совершенно бесшумно, закрылась за мной.

Внезапно я понял, как все это выглядит; у меня с глаз словно упали шоры. Она смотрела на меня, неподвижная, бледная, придерживая руками

полы этого несчастного халатика, а напротив я, мокрый, с халатом в руках, в одних только черных плавках Олафа, уставился на нее не отрываясь.

И вдруг все это показалось мне невероятно смешным. Я встряхнул халат. Надел его, запахнул и сел. Там, где я раньше стоял, — два мокрых пятна на полу. Мне совершенно нечего было сказать. Я не знал, что сказать. И вдруг догадался. Меня будто осенило.

— Вы знаете, кто я?

— Знаю.

— Вот как? Хорошо. Из Бюро Путешествий?

— Нет.

— Все равно. Я дикий, вы знаете?

— Правда?

— Страшно дикий. Как вас зовут?

— Вы не знаете?

— Как ваше имя?

— Эри.

— Я заберу тебя отсюда.

— Что?

— Заберу. Не хочешь?

— Нет.

— Все равно заберу, и знаешь почему?

— Кажется, знаю.

— Нет, не знаешь. Я и сам не знаю.

Она молчала.

— Я ничего не могу с этим поделать, — продолжал я. — Это случилось, когда я тебя увидел. Позавчера. За обедом. Понимаешь?

— Да.

— Постой. Может, ты думаешь, я шучу?

— Нет.

— Откуда же ты можешь… хотя все равно. Ты попытаешься сбежать?

Она молчала.

— Не делай этого, — попросил я. — Это не поможет, пойми. Я все равно не оставлю тебя в покое, даже если бы и хотел. Ты веришь мне?

Она молчала.

— Пойми, дело не только в том, что я небетризованный. Мне ничего не надо. Ничего, кроме тебя. Мне нужно тебя видеть. Мне нужно смотреть на тебя. Мне нужно слышать твой голос. Только это, и больше ничего. Никогда. Я не знаю, что будет с нами. Пусть даже это плохо кончится. Мне все равно. Потому что уже и этого много. Потому что я могу это сейчас говорить, а ты слышать. Понимаешь? Нет. Тебе не понять. Вы избавились от драм, чтобы жить спокойно. Я так не умею. И не хочу.

Она молчала. Я глубоко вздохнул.

— Эри, послушай… Сначала сядь.

Она не пошевелилась.

— Прошу тебя, сядь.

Молчание.

— Тебе же все равно. Сядь.

Неожиданно я понял. Стиснул зубы.

— Если ты не хочешь даже сесть, зачем же ты впустила меня?

Молчание.

Я встал. Взял ее за плечи. Она не защищалась. Я посадил ее в кресло. Придвинул свое, так что наши колени почти соприкасались.

— Можешь делать что хочешь. Но выслушай меня. Я в этом не виноват. А ты и подавно. Никто не виноват. Я не хотел этого. Но так случилось. Это, понимаешь, исходное положение. Я знаю, что веду себя как сумасшедший. Знаю и сейчас скажу почему… А ты что, вообще не будешь больше говорить со мной?

— Смотря о чем, — сказала она.

— Спасибо и на том. Да, я знаю, у меня нет прав, никаких прав и тому подобное. Что же я хотел сказать? Миллионы лет назад существовали такие ящеры — бронтозавры, атлантозавры… Ты слышала?

— Да.

— Это были гиганты величиной с дом. Длинный хвост, в три раза длиннее тела. Из-за этого они не могли двигаться так, как, может, хотели бы — легко и изящно. У меня тоже есть такой хвост. Десять лет неизвестно зачем я скитался среди звезд. Может быть, зря. Но это было. Этого не вычеркнешь. Это мой хвост. Понимаешь? Я не могу вести себя так, словно его нет, словно этого никогда не было. Я не думаю, что ты в восторге от того, что я сказал, что говорю и что скажу еще. Но выхода я не вижу. Ты должна быть моей, пока возможно. И это… все. Что скажешь ты?

Она смотрела на меня. Мне показалось, что она еще больше побледнела, но это могло быть от освещения. Она сидела, кутаясь в свой пушистый халат, словно ей было холодно. Я хотел спросить, холодно ли ей, и снова не мог выговорить ни слова. Мне… — о! — мне не было холодно.

— А вы… Как бы поступили вы… на моем месте?

— Очень хорошо! — похвалил я. — Вероятно, боролся бы.

— Я не могу.

— Знаю. Думаешь, мне от этого легче? Клянусь тебе, нет. Мне уйти или можно еще сказать кое-что? Почему ты так смотришь? Неужели ты не

понимаешь, что я сделаю для тебя все? Прошу тебя, не смотри так. Все! Даже то, чего не могут сделать… другие люди. А ты знаешь что?

Мне стало душно, будто я долго бежал. Я держал обе ее руки — не знаю, как долго, может быть, с самого начала? Не знаю. Они были такие маленькие.

— Эри, знаешь, я никогда еще не чувствовал того, что чувствую сейчас. В эту минуту. Подумай. Эта жуткая пустота там. Этого нельзя рассказать. Я не верил, что вернусь. Никто не верил. Мы говорили о возвращении, но это было просто так. Они остались там, Арне, Том, Вентури, и они теперь как камни, знаешь, такие насквозь промерзшие камни, во тьме. И я должен был там остаться, а если я здесь, и держу твои руки, и могу говорить с тобой, и ты слышишь меня, то, может, не так уж и скверно, что я вернулся. Не столь гнусно, Эри. Только не смотри так. Умоляю тебя. Дай мне надежду. Не думай, что это просто любовь. Не думай так. Это больше. Больше. Ты мне не веришь… почему ты мне не веришь? Ведь я говорю правду. Не веришь?

Она молчала. Ее руки были холодны как лед.

— Не можешь, да? Это невозможно. Да, я знаю, что это невозможно. Я знал это с первой минуты.

Я ни имею права быть тут. Я должен быть там. Не моя вина, что я вернулся. Да. Зачем я тебе это говорю? Этого не было. Правда, не было, да? Пусть будет так, раз тебя это не интересует. Ты думала, что я воспользуюсь своей силой? Этого мне не надо, понимаешь? Ты не звезда…

Наступила тишина. Дом молчал. Я наклонил голову к ее рукам, безвольно лежащим в моих, и начал шептать им:

— Эри, Эри. Теперь ты уже понимаешь, что меня не нужно бояться, правда? Ты ведь понимаешь, что тебе ничего не грозит. Но это такое огромное, Эри. Я не знал, что подобное возможно. Не предполагал. Клянусь. Зачем они летят к звездам? Понять не могу. Ведь ЭТО здесь. ЭТО же здесь. А может, надо было сначала побывать там, чтобы это понять? Да, может быть. Сейчас я уйду. Забудь обо всем. Забудешь?

Она кивнула.

— И никому не скажешь?

Она отрицательно покачала головой.

— Правда?

— Правда, — прошептала она.

— Благодарю тебя.

Я вышел. Лестница. Кремовая стена, другая зеленая. Дверь моей комнаты. Я широко распахнул

окно, дышал. Какой воздух! С той минуты, как я вышел от нее, я был совершенно спокоен. Я даже улыбался, но не губами, не лицом. Улыбка была во мне, снисходительная улыбка над собственной глупостью, над тем, что я не мог понять и что было так просто. Наклонившись, я перебирал содержимое спортивного чемоданчика. Среди шнуров? Нет, какие-то сверточки, нет, не то, сейчас…

Вот он. Я выпрямился и вдруг смутился. Свет. Я не могу так. Пошел к лампе, чтобы потушить ее. На пороге стоял Олаф. Он был одет. Не ложился?

— Ты что делаешь?

— Ничего.

— Ничего? Что у тебя в руке?

— Так…

— Не прячь! Покажи.

— Не хочу. Уйди!

— Покажи!

— Нет.

— Я так и знал. Мерзавец!

Я не ожидал этого удара. Разжал руку, нож выскользнул, упал со стуком. Мы оба покатились по полу, я подмял его под себя, он перевернулся, столик рухнул, лампа грохнулась о стену, так что загремело на весь дом. Я уже сдавил его. Он не мог

вырваться, только извивался, и вдруг я услышал крик, ее крик, отпустил его, отпрыгнул назад.

Она стояла в дверях.

Олаф поднялся на колени.

— Он хотел покончить с собой. Из-за тебя! — прохрипел он, хватаясь за горло.

Я отвернулся. Оперся о стену, ноги тряслись. Мне было стыдно, невыразимо стыдно. Она смотрела на нас — то на одного, то на другого. Олаф все еще держался за горло.

— Уходи, — тихо сказал я.

— Сначала тебе придется меня прикончить.

— Прости меня.

— Нет.

— Олаф, прошу вас, уйдите, — сказала она.

Я умолк, раскрыв рот. Олаф, остолбенев, смотрел на нее.

— Девочка, он…

Она покачала головой.

Все еще глядя на нас, то пятясь, то немного боком, он вышел.

Она взглянула на меня:

— Это правда?

— Эри… — простонал я.

— Ты не можешь иначе? — спросила она.

Я кивнул утвердительно. Она покачала голо-

вой.

— Не понимаю, — сказал я и повторил еще раз, как-то заикаясь: — Не понимаю.

Она молчала. Я подошел к ней и увидел, что вся она как-то съежилась и руки, придерживающие отвернувшийся край пушистого халата, дрожат.

— Почему? Почему ты так меня боишься?

Она отрицательно покачала головой.

— Нет?

— Нет.

— Но ты же дрожишь?

— Это просто так.

— И ты… пойдешь со мной?

Она кивнула дважды, как ребенок. Я обнял ее, так бережно, как только мог, словно вся она была из стекла.

— Не бойся… — сказал я. — Смотри…

У меня самого дрожали руки. Почему они не дрожали тогда, когда я медленно седел, ожидая Ардера? До каких глубин, до каких закоулков я наконец добрался, чтобы узнать, чего я стою?

— Сядь, — сказал я. — Ведь ты все еще дрожишь? Или нет, подожди.

Я уложил ее в постель. Закутал до подбородка.

— Так лучше?

Она кивнула. Я не знал, только ли со мной она

так молчалива или это ее привычка.

Я опустился на колени перед кроватью.

— Скажи что-нибудь, — прошептал я.

— Что?

— О себе. Кто ты. Что делаешь. Чего хочешь. Нет, чего ты хотела, прежде чем я свалился тебе на голову.

Она слегка повела плечами, как бы говоря: «Мне нечего рассказывать».

— Ты не хочешь говорить? Почему?

— Это не имеет значения… — сказала она.

Для меня это было как удар. Я отшатнулся.

— Как?.. Эри… Как это? — бормотал я. И уже понимал, хорошо понимал.

Я вскочил и принялся ходить по комнате.

— Я не хочу так. Не могу так. Не могу. Так нельзя…

Я остолбенел снова, потому что она улыбалась. Слабой, чуть заметной улыбкой.

— Эри, что ты…

— Он прав, — сказала она.

— Кто?

— Тот… Ваш друг.

— В чем?

Ей было трудно это сказать. Она отвела глаза.

— Что вы… можете поступить неразумно.

— Откуда ты знаешь, что он это сказал?

— Слышала.

— Наш разговор? После обеда?

Она кивнула. Покраснела. Даже уши порозовели.

— Я не могла не слышать. Вы ужасно громко спорили. Я вышла бы, но…

Я понял. Дверь ее комнаты выходила в зал. «Что за кретин!» — подумал я, конечно, о себе. Меня словно оглушило.

— Ты слышала… Все?

Она кивнула.

— И понимала, что я говорю о тебе?..

— Да.

— Но почему? Ведь я же не назвал твоего имени…

— Я знала это раньше.

— Откуда?

Она покачала головой:

— Не знаю. Знала. Вернее, сначала я подумала, что это мне кажется.

— А потом?

— Не знаю. Я весь день чувствовала это.

— И очень боялась? — спросил я угрюмо.

— Нет.

— Нет? Почему нет?

Она слабо улыбнулась:

— Вы совсем как…

— Как что?!

— Как в сказке. Я не знала, что можно… быть таким… и если бы не то, что… Ну… я думала бы, что это мне снится.

— Уверяю тебя, не снится.

— Ох, знаю. Я просто так сказала. Вы ведь понимаете, что я имею в виду?

— Не очень. Видно, я туп, Эри. Да, Олаф был прав. Я болван. Полнейший болван. Поэтому скажи мне прямо, идет?

— Хорошо. Вы думаете, что вы страшный, а это совсем не так. Вы просто… — Она умолкла, словно не могла найти подходящих слов.

Я слушал разинув рот.

— Эри, девочка, я… я совсем не думал, что я страшный. Ерунда. Клянусь тебе. Просто когда я прилетел, и наслушался, и узнал разные разности… Довольно. Я уже достаточно говорил. Даже слишком. Никогда в жизни я не был таким болтливым. Говори ты, Эри. Говори. — Я присел на кровати.

— Не о чем. Правда. Только… не знаю…

— Чего ты не знаешь?

— Что будет?..

Я наклонился над ней. Я чувствовал ее дыхание. Она смотрела мне в глаза. Ее веки не дрожали.

— Почему ты позволила целовать себя?

— Не знаю.

Я коснулся губами ее щеки. Шеи. И замер, опустив голову на ее плечо, изо всех сил стискивая зубы. Такого со мной еще никогда не было. Я даже не подозревал, что такое может быть. Мне хотелось плакать.

— Эри, — прошептал я беззвучно, одними губами. — Эри. Спаси меня.

Она лежала неподвижно. Словно издалека, до меня доносились гулкие удары ее сердца. Я сел.

— Может быть… — начал я, но не решался закончить. Встал, поднял лампу, поставил столик, споткнулся обо что-то — это был туристский нож. Он валялся на полу. Я запихнул его в чемоданчик и повернулся к ней. — Я потушу свет, хорошо?

Она не отвечала. Я нажал выключатель. Мрак был абсолютный, даже в открытом окне не было видно ни единого огонька. Ничего. Черно. Так же черно, как ТАМ.

Я закрыл глаза. Тишина шумела.

— Эри… — прошептал я. Она не ответила Я чувствовал ее страх. Впотьмах шагнул в сторону кровати. Пытался уловить ее дыхание, но слышал

только всеобъемлющий звон тишины, которая как бы материализовалась в этой темноте и уже была ею. «Я должен уйти, — подумал я. — Да. Сейчас пойду». Но вместо этого наклонился и в каком-то ясновидении нашел ее лицо. Она затаила дыхание.

— Нет, — выдохнул я. — Ничего. Клянусь, ничего…

Я коснулся ее волос. Гладил их кончиками пальцев, узнавал их, еще чужие, еще неожиданные. Мне так хотелось понять все это. А может быть, нечего было понимать? Какая тишина. Спит ли Олаф? Наверно, нет. Сидит, прислушивается. Ждет. Пойти к нему? Но я не мог. Это было слишком неправдоподобно. Я не мог. Не мог. Я опустил голову к ней на плечо. Одно движение, и я был рядом с ней и почувствовал, как она сжалась. Она отодвинулась.

Я шепнул:

— Не бойся.

— Я не боюсь…

— Ты дрожишь.

— Это просто так.

Я обнял ее. Тяжесть ее головы на моем плече переместилась на сгиб локтя. Мы лежали рядом. И ничего вокруг — только молчащая тьма.

— Уже поздно, — шепнул я. — Очень поздно. Можешь спать. Прошу тебя. Спи…

Я укачивал ее, одним только напряжением мышц. Она лежала притихнув, но я чувствовал тепло ее тела и дыхание. Оно было учащенным. И сердце ее билось тревожно. Постепенно, медленно оно начало успокаиваться. Видимо, она очень устала. Я прислушивался сначала с открытыми, потом с закрытыми глазами, потому что мне казалось, что так я лучше слышу. Спит уже? Кто она? Почему она значит для меня так много? Я лежал во тьме, пронизываемой порывами ветра за окном. Занавеска шевелилась, тихонько шелестя. Я был полон немого изумления. Эннессон, Томас, Вентури, Ардер. И все ради этого? Ради этого? Щепотка праха. Там, где никогда не дует ветер. Где нет ни облаков, ни солнца, ни дождя, где нет ничего, словно все это вообще невозможно, словно об этом нельзя даже думать. И я был там? Действительно был? Зачем? Я уже ничего не сознавал, все сливалось в бесформенную тьму. Я замер. Она вздрогнула. Медленно повернулась на бок. Но ее голова осталась на моем плече. Она что-то тихонько пробормотала сквозь сон. Я пытался представить себе хромосферу Арктура. Зияющая бездна, над которой я летел и летел, как будто

вращался на чудовищной невидимой огненной карусели. Опухшие глаза слезились. Безжизненным голосом я твердил: «Зонд, Ноль, Семь, Зонд, Ноль, Семь, Зонд, Ноль, Семь» — тысячи, тысячи раз, так, что потом при одной мысли об этих словах во мне что-то содрогалось, будто они были выжжены во мне, будто стали раной; а ответом был шум в наушниках и клохчущее хихиканье, в которые моя аппаратура превращала огненные всплески протуберанцев, и все это был Ардер, его лицо, его тело и его корабль, превращенные в лучистый газ. А Томас? Погибший Томас, о котором никто не знал, что он… а Эннессон. Отношения у нас были неважные — я его терпеть не мог. Но в шлюзовой камере я дрался с Олафам, который не хотел меня выпускать, потому что было уже поздно. Какой я был благородный, великие небеса, черные и голубые!.. Но это не было благородство, дело было просто в цене. Да. Каждый из нас был чем-то бесценным, человеческая жизнь приобретала величайшую ценность там, где не могла уже иметь никакой ценности, там, где тончайшая, почти не существующая оболочка отделяла жизнь от смерти. Какой-то проводок или спай в передатчике Ардера… Какой-нибудь шов в реакторе Вентури, который проглядел Восс, — а может

быть, шов неожиданно разошелся, ведь это случается, усталость металла, — и Вентури в пять секунд перестал существовать. А возвращение Турбера? А чудесное спасение Олафа, который потерялся, когда пробило направляющую антенну, — слыханное ли дело? Как? Никто не знал. Олаф вернулся чудом. Да, один на миллион. А как везло мне. Как невероятно, невозможно везло… Рука онемела. Это было невыразимо хорошо. «Эри, — сказал я мысленно, — Эри». Как голос птицы. Такое имя. Голос птицы… Как мы просили Эннессона, чтобы он изображал голоса птиц. Он это умел. Как он это умел! А когда он погиб, вместе с ним погибли все птицы…

Но у меня уже все путалось в мыслях, я погружался, плыл через эту тьму. В последний миг перед тем, как заснуть, мне показалось, что я там, на своем месте, на койке, глубоко, у самого стального дна, а рядом со мной маленький Арне — на мгновение я очнулся. Нет. Арне мертв, я был на Земле. Девушка тихо дышала.

«Будь благословенна, Эри», — сказал я одними губами, вдохнул запах ее волос и заснул…

Я открыл глаза, не зная, где я и кто я. Темные волосы, рассыпавшиеся по моему онемевшему плечу — я не чувствовал его, словно оно бы-

ло чем-то посторонним, — изумили меня. Это длилось долю секунды. В следующее мгновение я уже все вспомнил. Солнце еще не взошло. Молочно-белый, бесцветный, чистый, пронзительно-холодный рассвет брезжил в окнах. Я смотрел в ее лицо, освещенное этим предутренним светом, словно видел его впервые. Она крепко спала, стиснув губы, ей было, вероятно, не очень удобно на моем плече, потому что она подложила под голову ладонь и время от времени трогательно шевелила бровями, словно опять начинала удивляться. Движение было совсем незаметным, но я внимательно смотрел, будто на ее лице была написана моя судьба.

Я подумал об Олафе. Очень осторожно начал освобождать руку. Осторожность оказалась совершенно излишней. Эри спала глубоким сном, ей что-то снилось; я замер, пытаясь отгадать — не сам сон, а только — не дурной ли он. Ее лицо было почти детским. Нет, не дурной. Я отодвинулся, встал. На мне был купальный халат, я так и не снял его. Не обуваясь, я вышел в коридор, очень медленно, тихо прикрыл дверь и с соблюдением таких же предосторожностей заглянул в комнату Олафа. Постель была не тронута. Он сидел за столом, положив голову на руки, и спал. Как я и

думал, он не раздевался. Не знаю, что его разбудило, — мой взгляд? Он вдруг очнулся, быстро взглянул на меня ясными глазами, выпрямился и потянулся разминаясь.

— Олаф, — сказал я, — даже через сто лет…

— Заткнись, — сказал он любезно. — У тебя всегда были дурные наклонности…

— Ты уже начинаешь? Я только хотел сказать…

— Знаю, что ты хотел сказать. Я всегда за неделю вперед знаю, что ты хочешь сказать. Если бы на «Прометее» нужен был проповедник, ты подошел бы как нельзя лучше. Черт побери, как это мне не пришло в голову раньше! Я бы тебя проучил, Эл! Никаких проповедей. Никаких клятв, обещаний и тому подобного. Как дела? Хорошо? Да?

— Не знаю. Как будто. А впрочем, не знаю. Если тебя интересует… ну… то ничего не было.

— Нет, сначала ты должен встать на колени, — сказал он, — и говорить, стоя на коленях. Идиот, разве я тебя об этом спрашиваю? Я говорю о перспективах и вообще…

— Не знаю. Я тебе вот что скажу… по-моему, она сама не знает. Я свалился ей на голову, как камень.

— Увы, — заметил Олаф. Он раздевался. Искал

плавки. — Это печально. Сколько ты весишь, камешек? Сто десять?

— Около этого. Не ищи. Твои плавки на мне.

— При всей твоей святости ты всегда норовил подхватить чужое, — ворчал он, а когда я начал снимать плавки, крикнул: — Брось, дурак! У меня есть в чемодане другие…

— Как оформляется развод? Случайно, не знаешь?

Олаф посмотрел на меня из-за открытого чемодана, моргнул.

— Нет. Не знаю. Интересно, откуда бы мне знать? Я слышал, что это все равно что чихнуть. И даже «будь здоров» говорить не надо. Нет ли тут какой-нибудь человеческой ванны, с водой?

— Не знаю. Наверно, нет. Есть только такая — знаешь…

— Да. Освежающий вихрь с запахом зубного эликсира. Ужас. Пошли в бассейн. Без воды я не чувствую себя умытым. Она спит?

— Спит.

— Ну, тогда бежим.

Вода была холодной и чудесной. Я сделал сальто из винта назад — получилось. Раньше никогда не получалось. Выплыл, отплевываясь и кашляя, потому что втянул носом воду.

— Осторожней, — бросил мне с берега Олаф, — ты теперь должен беречь себя. Помнишь Маркля?

— Да. А что?

— Он побывал на четырех спутниках Юпитера, насквозь проаммиаченных, а когда вернулся, сел на тренировочном поле и вылез из ракеты, увешанный трофеями, как рождественская елка, споткнулся и сломал ногу. Так что ты осторожней. Уж послушай меня.

— Постараюсь. Дьявольски холодная вода. Я вылезаю.

— И правильно делаешь. А то еще подхватишь насморк. У меня его не было десять лет. Но не успел я прилететь на Луну, как начал кашлять.

— Потому что ТАМ было очень сухо, — сказал я с серьезной миной.

Олаф рассмеялся и тут же обдал мне лицо водой, нырнув в каком-нибудь метре от меня.

— Действительно, сухо, — сказал он, выплывая. — Это метко сказано, знаешь. Сухо, но неуютно.

— Ол, я побежал.

— Ладно. Увидимся за завтраком. Или не хочешь?

— Ты что!

Я побежал наверх, обтираясь по дороге. Перед своей дверью затаил дыхание. Осторожно заглянул. Она еще спала. Я воспользовался этим и быстро оделся. Даже успел побриться в туалетной.

Сунул голову в комнату — мне показалось, что Эри что-то сказала. Когда я на цыпочках подходил к кровати, она открыла глаза:

— Я спала… тут?

— Да. Да, Эри…

— Мне казалось, что кто-то…

— Да, Эри, это был я…

Она смотрела на меня, словно к ней постепенно возвращалась память, сознание всего, что произошло. Сначала ее глаза широко раскрылись — от удивления? — потом она их закрыла, снова открыла — украдкой, очень быстро, но так, что я все-таки это заметил, заглянула под одеяло — и повернула ко мне порозовевшее лицо.

Я кашлянул.

— Ты, наверное, хочешь пойти к себе, а? Может быть, мне лучше выйти или…

— Нет, — сказала она, — у меня же есть халат.

Она села, запахивая полы халата.

— Это… уже… по-настоящему? — сказала она тихо, таким тоном, словно расставалась с чем-то.

Я молчал.

Она встала, прошлась по комнате, вернулась. Подняла глаза на меня — в них был вопрос, неуверенность и что-то еще, чего я не мог определить.

— Брегг…

— Меня зовут Эл.

— Эл, я… я действительно не знаю… Я хотела бы… Сеон…

— Что?

— Ну… Он… — Она не могла или не хотела сказать «мой муж»? — Он вернется послезавтра.

— Да?

— Что будет?

Я проглотил комок.

— Мне с ним поговорить?

— Как это?..

Теперь я в свою очередь с изумлением посмотрел на нее, ничего не понимая.

— Вы же… вчера говорили…

Я ждал.

— Что… заберете меня.

— Да…

— А он?

— Так мне не говорить с ним? — спросил я наивно.

— Как это, «говорить»? Вы хотите сами?

— А кто же?

— Значит, это… конец?

Что-то сдавило мне горло; я кашлянул.

— Но ведь… другого выхода нет.

— Я думала, что это… меск.

— Что?..

— Вы не знаете?

— Ничего не понимаю. Нет. Не знаю. Что это такое? — сказал я, чувствуя, как по коже побежали неприятные мурашки. Я опять попал в одну из неожиданных пустот, в топкое болото недопонимания.

— Это такой… Ну… если кто-то встречается… если хочет на какое-то время… Вы действительно этого не знаете?

— Подожди, Эри, не знаю, но, кажется, начинаю понимать… Это что-то такое временное, этакая отсрочка, минутное приключение?

— Нет, — сказала она, и у нее округлились глаза. — Вы не знаете… как это… Я сама точно не знаю как, — вдруг призналась она. — Я только слышала об этом. Я думала, что вы поэтому…

— Эри. Я ничего не знаю. И черт меня побери, если я что-нибудь понимаю. Может быть… во всяком случае, у этого есть что-нибудь общего с браком, да?

— Ну да. Идут в управление, и там, не знаю точно что, во всяком случае, потом это уже как-то… ну, в общем…

— Что?

— Законно. Так, что никто не может возразить. Никто. И он тоже…

— Так, значит, это все-таки… это какой-то способ узаконить — ну, черт возьми, — узаконить супружескую измену. Так, что ли?

— Нет. Да. То есть это уже не измена, впрочем — так не говорят. Я знаю, что это значит. Я это изучала. Нет измены, потому что, ну, потому что ведь мы с Сеоном только на год.

— Что такое? Как на год? Брак на год? На один год? Почему?

— Это испытание…

— Великие небеса, черные и голубые! Испытание. А что такое меск? Может быть, авизо на следующий год?

— Не понимаю, что такое авизо. Меск — это… это значит, что если через год супруги расходятся, тогда вступает в силу то. В общем, это помолвка.

— Это и есть меск?

— Да.

— А если они не расходятся, что тогда?

— Тогда ничего. Меск не имеет никакого зна-

чения.

— Ага. Ну, теперь понимаю. Нет, никаких месков. На веки веков. Ты хоть знаешь, что это значит?

— Знаю. Брегг?

— Да?

— Я заканчиваю аспирантуру по археологии в этом году…

— Понимаю. Ты намекаешь, что, принимая тебя за идиотку, я, по существу, сам идиот.

Она усмехнулась:

— Вы это очень резко сформулировали.

— Да. Прости. Так я могу с ним поговорить?

— О чем?

У меня открылся рот. «Опять!» — подумал я.

— Ну, знаешь ли… — Я осекся. — О нас, разумеется!

— Ведь так не делают.

— Нет? Ага. Чудесно. А как делают?

— Производят раздел. Но, Брегг, правда… ведь я… я так не могу…

— А как ты можешь?

Она беспомощно пожала плечами.

— Это значит, мы возвращаемся к тому, с чего начали вчера вечером? — спросил я. — Не сердись, Эри, что я так говорю, я вдвойне обес-

куражен. Я же не знаком со всеми формами, обычаями, что можно и чего нельзя, даже в нормальных обстоятельствах, не говоря уже о таких…

— Нет, я знаю. Но мы с ним… я… Сеон…

— Понимаю, — сказал я. — Знаешь что? Давай сядем.

— Мне как-то лучше думать стоя.

— Пожалуйста. Слушай, Эри. Я знаю, что мне нужно сделать. Я должен забрать тебя и уехать куда-нибудь; не знаю, откуда у меня эта уверенность. Может быть, от моей бесконечной наивности? Но мне кажется, что в конце концов тебе со мной было бы хорошо. Да. А между тем я, понимаешь, такой — ну, одним словом: я не хочу этого делать. Не хочу тебя принуждать. В результате вся ответственность за мое решение — назовем это так — падает на тебя… Словом, получается, что я кругом свинья — если не с правой стороны, то с левой. Да и я это прекрасно сознаю. Прекрасно. Но скажи только одно: что ты предпочитаешь?

— Правую…

— Что?

— Правую сторону этой свиньи.

Я рассмеялся. Может, даже немного истерично.

— О боже! Так. Хорошо. Значит, я могу с ним поговорить? Потом. Ну, я приехал бы сюда потом один…

— Нет.

— Так тоже не делают? И все-таки мне кажется, я должен…

— Нет. Я… очень прошу. Правда. Нет. Нет!

Вдруг у нее из глаз брызнули слезы. Я схватил ее за руки:

— Эри! Нет. Ну, нет. Я сделаю, как ты хочешь, только не плачь. Умоляю тебя. Потому что… не плачь. Перестань, слышишь? А впрочем… плачь… я сам не знаю…

— Я… не знала, что это… может… так… — всхлипывала она.

Я носил ее по комнате.

— Не плачь, Эри… Или знаешь что? Уедем на… месяц. Если потом захочешь, вернешься…

— Прошу вас… — сказала она, — прошу…

Я опустил ее на пол.

— Так нельзя? Ведь я же ничего не знаю. Я думал…

— Ах, как вы! «Можно», «нельзя». Я не хочу так! Не хочу!

— Эта правая сторона становится все больше, — сказал я неожиданно сухо. — Ну ладно, Эри, я

больше не буду с тобой советоваться. Одевайся. Позавтракаем и уедем.

Она смотрела на меня. На глазах у нее еще не высохли слезы. Сосредоточенное лицо. Насупленные брови. Мне показалось, она хочет сказать что-то, не слишком для меня лестное. Но она только вздохнула и молча вышла. Я присел к столу. Моя неожиданная решительность — как в каком-то романе о пиратах — была всего лишь минутной. В действительности я был столь же решителен, как и роза ветров. Моему смущению не было границ. «Как я могу? Как могу?» — спрашивал я себя. Ох, что за путаница!

В открытых дверях стоял Олаф.

— Сын мой, — сказал он. — Я сожалею. Я поступил крайне бестактно, но я все слышал. Не мог не слышать. Надо закрывать двери, к тому же у тебя такой зычный голос. Эл, ты превзошел самого себя. Чего ты хочешь от девчонки — чтобы она бросилась тебе на шею только потому, что ты однажды влез в дыру на Ке…

— Олаф!! — запротестовал я.

— Только спокойствие может нас спасти. Ну, наш археолог нашла себе прелестную древность. Сто шестьдесят лет — это уже антик, а?

— Твой юмор…

— …Тебе не нравится. Знаю. Мне тоже. Но что бы меня ожидало, если бы я не видел тебя насквозь? Похороны друга — больше ничего. Эл, Эл…

— Я знаю, как меня зовут.

— В чем дело? Ваше преподобие, подъем! Завтрак, и поехали.

— Даже не представляю куда.

— Зато совершенно случайно знаю я. У моря есть еще небольшие домики. Возьмете автомобиль…

— Как это «возьмете»?

— Что значит как? А ты думал — мы втроем? Святая троица? Ах, ваше преподобие…

— Если ты не перестанешь, Олаф…

— Ладно. Я знаю. Ты бы хотел всех осчастливить. Меня, ее, того Сеола или Сеона, нет, так не бывает. Эл, мы выедем вместе. Можешь подбросить меня до Хоулу. Там я возьму ульдер.

— Ну и ну, — сказал я, — хорошенькие я устроил тебе каникулы!

— Я не жалуюсь, так не жалуйся и ты. Может, из этого что-нибудь и получится. А сейчас довольно. Идем.

Завтрак прошел в напряженной обстановке. Олаф говорил больше обычного, но беседа не клеилась. Ни Эри, ни я почти не отвечали. Потом

белый робот подал глидер, и Олаф отправился в Клавестру за автомобилем. Это пришло ему в голову в последний момент. Через час машина уже стояла в саду, я погрузил все свое имущество, Эри тоже взяла свои вещи — мне показалось, что не все, но я ни о чем не спрашивал; мы, собственно, совершенно не разговаривали друг с другом. И ярким солнечным днем, который обещал быть жарким, мы поехали сначала в Хоулу — это было немного в сторону, — и Олаф там сошел; о том, что домик для нас уже снят, он сказал только в машине.

Прощания, собственно, не было.

— Послушай, — сказал я, — если я напишу… приедешь?

— Конечно. Адрес я сообщу.

— Напиши до востребования в Хоулу, — сказал я.

Он протянул мне свою твердую руку. Сколько еще было таких на всей Земле?

Я пожал ее, так что у меня хрустнули кости, и, не оглядываясь, сел за руль. Сразу же с места взял километров сто. Мы ехали меньше часа. Олаф сказал, где искать наш домик. Он был маленький, четыре комнаты, без бассейна, но рядом с пляжем, у самого моря. Проезжая ряды цветных

домиков, рассыпанных по холмам, мы увидели с шоссе океан. Еще прежде, чем он стал виден, издали послышался его приглушенный, далекий гул.

Время от времени я посматривал на Эри. Она сидела молча, выпрямившись, лишь изредка поглядывая в сторону на улетающую назад дорогу. Домик — наш домик, — по словам Олафа, был голубой, с оранжевой крышей. Облизнув языком губы, я почувствовал привкус соли. Шоссе сворачивало и шло параллельно линии песчаного берега. Голос океана, волны которого издалека казались неподвижными, смешивался с натужным гулом мотора.

Домик стоял на самом краю поселка. Небольшой садик с кустами, шершавыми от налета соли, сохранил следы недавнего шторма. Волны, видимо, перехлестывали через низкую ограду, на земле валялись пустые ракушки. Наклонная крыша выдвигалась вперед, словно отвернутые поля плоской шляпы, давая обширную тень. Соседний домик выглядывал из-за большого, поросшего редким кустарником холма. До него было шагов шестьсот. Ниже, на серповидном пляже, виднелись крохотные фигурки людей.

Я распахнул дверцу.

— Эри…

Она молча вышла. Если бы знать, что за мысли под этим насупленным лбом. Она шла рядом со мной к двери.

— Нет, не так, — сказал я. — Не переступай порог сама.

— Почему?

Я взял ее на руки.

— Открой… — попросил я. Она коснулась пальцами плитки, дверь отворилась.

Я перенес ее через порог и опустил на пол.

— Таков обычай. На счастье…

Она пошла первой осматривать комнаты. Кухня была сзади, автоматическая, и один робот, вернее, не робот, а просто этакий электрический глупыш для наведения порядка. Из тех, что могут и на стол подавать, и выполнять приказы, но говорят только несколько слов.

— Эри, — сказал я, — хочешь пойти на пляж?

Она покачала головой. Мы стояли посреди самой большой, белой с золотым, комнаты.

— А что ты хочешь? Может…

Опять тот же жест еще прежде, чем я кончил.

Я чувствовал, чем это пахнет. Но путей к отступлению уже не было.

— Я принесу вещи, — сказал я и ждал, ответит ли она, но она села в креслице, зеленое, как трава,

и я понял, что она не скажет ни слова.

Этот первый день был ужасен. Эри не устраивала никаких демонстраций, не старалась умышленно меня избегать, а после обеда пробовала даже немного заниматься, — тогда я попросил разрешения побыть в ее комнате и смотреть на нее. Я обещал, что не отвлеку ее ни словом и не стану мешать, но уже через каких-нибудь пятнадцать минут (как я был догадлив!) я почувствовал, что мое присутствие тяготит ее, как невидимый груз, это выдавала линия ее плеч, ее мелкие, осторожные движения, скрытое напряжение; обливаясь потом, я убежал от нее и принялся шагать по своей комнате. Я еще не знал ее, но уже видел, что она далеко не глупа. При сложившейся ситуации это было одновременно и хорошо и плохо. Хорошо потому, что если она не понимала, то по крайней мере догадывалась, кто я, и не видела во мне варварского чудовища или дикаря. Плохо, потому что в этом случае совет, данный мне в последний момент Олафом, не имел смысла. Он процитировал мне известный афоризм из книги Хон: «Если женщина должна стать как пламень, мужчина должен быть как лед». Итак, он считал, что только ночью я могу рассчитывать на успех. Я не хотел этого и поэтому

так отчаянно мучился и все же понимал, что в то короткое время, которое имеется в моем распоряжении, я не могу покорить ее при помощи слов и, что бы я ни сказал, все останется снаружи, потому что это ни в чем не опровергает ее правоты, ее справедливого гнева, который проявился только один раз в коротком взрыве, когда она начала кричать: «Не хочу, не хочу!» И то, что она тогда так быстро взяла себя в руки, тоже казалось мне плохим признаком.

Вечером ее охватил страх. Я старался быть тише воды, ниже травы, как Вув, тот маленький пилот — самый абсолютный молчальник, какого я только знал, — который ухитрялся, ничего не говоря, сказать и сделать все, что хотел.

После ужина — она не ела ничего, и это повергло меня в какой-то ужас — я почувствовал, что во мне начинает нарастать гнев, так что минутами я почти ненавидел ее за собственные мучения, и безбрежная несправедливость этого чувства еще больше углубляла его.

Наша первая, настоящая ночь. Когда она заснула у меня на руках, разгоряченная, а ее порывистое дыхание начало переходить отдельными, все более слабыми вздохами в забытье, я был совершенно уверен, что сломил ее. Все время она

боролась не со мной, а с собственным телом, которое я узнавал от тонких ногтей, от маленьких пальцев, ладоней, ступней, каждую частичку и сгиб которых я как бы раскрывал и пробуждал к жизни поцелуями, дыханием, вкрадываясь в нее против ее воли, исподволь, с бесконечным терпением, так что переходы были почтя незаметны, а когда я чувствовал нарастающее сопротивление, я отступал, начинал шептать ей сумасшедшие, бессмысленные, детские слова, потом снова умолкал, и только гладил, и ласкал ее, и чувствовал, как она раскрывается и как ее скованность переходит в экстаз последнего сопротивления, а потом она задрожала иначе, уже побежденная, но я все выжидал и только молчал, так как это было уже за пределами слов, чувствовал в темноте ее лежащие на постели тонкие руки и груди, левую грудь, потому что там билось сердце все быстрей, и она дышала все стремительней, все отчаянней… и свершилось. Это было даже не наслаждение, а страсть самоуничтожения и слияния, штурм тел, которые яростно слились на мгновение воедино, наши борющиеся дыхания, наш жар перешел в самозабвение; она крикнула один раз, слабо, высоким голосом и обняла меня. А потом ее руки отпустили меня, украдкой,

как бы в огромном смущении, словно она вдруг поняла, как страшно я обманул ее и предал. А я начал все, поцелуи, немые мольбы, это нежное и такое чудовищное наступление еще раз. И все повторилось, как в черном горячечном сне, и я вдруг почувствовал, как рука, теребившая волосы, прижимает мое лицо с такой силой, какой я от нее не ожидал. А потом, смертельно усталая, быстро дыша, словно желая выдохнуть из себя бушевавший жар и неожиданный страх, она заснула. А я лежал неподвижно, как мертвый, напряженный до предела, и пытался понять, что означает происшедшее, — все или ничего. Уже перед тем как заснуть, мне показалось, что мы спасены, и только теперь пришел покой, огромный покой, такой же, как на Керенее, когда я лежал на горячих плитах потрескавшейся лавы и Ардер лежал рядом и был без сознания, но я видел его губы, шевелящиеся за стеклом скафандра, и знал, что рисковал не напрасно, но у меня уже не было сил, чтобы хотя бы открыть ему кран резервного баллона; я лежал тогда как парализованный, чувствуя, что крупнейшее дело моей жизни уже позади и если я умру, то уже ничто не изменится, и в этом моем оцепенении таился невысказанный молчаливый триумф.

А утром все началось сначала. Первые часы она еще стыдилась, а может быть, это было презрение ко мне, не знаю, или она сама себя презирала за то, что случилось; перед обедом мне удалось уговорить Эри на небольшую автомобильную прогулку. Мы ехали по шоссе вдоль огромных пляжей. Тихий океан лежал под солнцем — грохочущий колосс, рассеченный пенистыми серпами белых и золотых гребней, усеянный до самого горизонта цветными лоскутами парусов. Я остановил машину там, где пляж кончался, неожиданно переходя в небольшой скалистый обрыв. Шоссе резко сворачивало, и, стоя в метре от его края, можно было смотреть сверху прямо на бурный прибой. Мы вернулись к обеду. Снова все было как вчера, а во мне все замирало при мысли о ночи, потому что я не хотел. Так я не хотел. Когда я не смотрел на Эри, я ощущал на себе ее взгляды. Я пытался отгадать, что означают набегающие на ее лоб морщинки, внезапная задумчивость, и не знаю, как или почему, перед самым ужином, когда мы уже садились за стол, вдруг, словно кто-то раскрыл мне глаза, я понял. Мне захотелось стукнуть себя по лбу. Каким же я был эгоистичным глупцом, каким самообольщающимся негодяем! Я сидел, онемев, неподвижно,

пот выступил у меня на лице, я почувствовал неожиданную слабость.

— Что с тобой?.. — спросила она.

— Эри, — прохрипел я. — Я… только сейчас. Клянусь тебе, сейчас понял, только сейчас, что ты пошла со мной; потому что боялась, что я… да?

Ее глаза расширились, она внимательно смотрела на меня, как бы подозревая какой-то обман, комедию. Потом кивнула.

Я вскочил.

— Едем.

— Куда?

— В Клавестру. Собирай вещи. Мы будем там… — я взглянул на часы, — через три часа.

Она не пошевелилась:

— Правда?

— Правда, Эри! Я не знал. Да, понимаю. Это звучит невероятно. Но есть границы. Да, есть границы. Эри, я этого еще как следует не понимаю. Как я мог? Наверно, я обманывал себя. Ну, не знаю, только все равно теперь это уже не имеет никакого значения.

Она собралась… так быстро… Во мне все пылало и кипело, но внешне я был совершенно, почти совершенно спокоен. Сев рядом со мной в машину, она сказала:

— Эл, прости.

— За что? А! — Я понял. — Ты думала, я знаю?

— Да.

— Ладно.

— Не будем об этом.

И опять я набрал скорость; убегали лиловые, белые, голубые домики, дорога извивалась, я увеличил скорость, движение по шоссе было большое, потом уменьшилось. Домики потеряли цвет, небо стало темно-голубым, показались звезды, а мы все мчались в протяжном свисте ветра.

Все вокруг посерело, холмы теряли четкость очертаний, превращались в контуры, в ряды серых горбов, дорога проступила из полумрака широкой, фосфоресцирующей полосой. Я узнал первые дома Клавестры, специфический поворот, живые изгороди. У самого входа я резко остановил машину, вынес ее вещи в сад к веранде.

— Не хочу… входить в дом. Понимаешь?

— Понимаю.

Я не хотел прощаться и отвернулся. Она коснулась моей руки, я вздрогнул, словно обожженный…

— Эл, благодарю тебя…

— Молчи. Ради бога, только молчи.

Я убежал. Вскочил в машину, дал газ, гул мото-

ра как бы на минуту спас меня. Я вышел, уже на двух колесах, на прямую. Надо мной можно было смеяться. Конечно, она боялась, что я его убью. Ведь она видела, что я пытался убить Олафа, ни в чем не виновного, только за то, что он не позволил мне… а впрочем! Впрочем, ничего. Я кричал, мчался и кричал, я мог позволить себе все, я был один. Мотор заглушал мое безумие. И опять не знаю, когда я понял, что надо делать. И снова, как в первый раз, наступил покой. Уже не такой. Ибо то, что я так ужасно использовал ситуацию и вынудил ее пойти со мной, и что все было поэтому… это было самым худшим из всего, что я мог себе представить, это отнимало у меня даже воспоминания, память той ночи, отнимало все. Я сам, собственными руками, уничтожил это в каком-то безграничном эгоизме, в ослеплении, которое закрыло от меня то, что было очевидным, что лежало на самой поверхности — ведь она не лгала, когда сказала, что не боится меня. Она боялась не за себя — боялась за него.

За стеклами летели огни, переливались, мягко отходили назад, мир вокруг был невыразимо прекрасен, а я, истерзанный, разбитый, летел, свистя шинами, из одного виража в другой к Тихому океану, к скалам. Неожиданно, когда

машина наклонилась сильнее, чем я ожидал, и вышла правыми колесами за край дороги, я испугался, это длилось мгновение, потом я разразился диким хохотом: неужели я боюсь погибнуть тут только потому, что решил сделать это в другом месте; этот хохот неожиданно перешел в рыдания. Я должен сделать это быстро, думал я, потому что я уже не тот. То, что со мной делается, более чем страшно, это отвратительно. Я твердил себе, что мне должно быть стыдно, но слова не имели ни веса, ни смысла. Было уже совершенно темно, шоссе почти опустело — ночью мало кто ездил, — когда я увидел недалеко за собой черный глидер. Он шел легко и без усилия там, где я вынужден был выделывать дикие трюки тормозами и газом. Глидеры держатся на дороге силой магнитного и гравитационного притяжения или черт знает чем еще. Во всяком случае, он мог опередить меня без особого труда, но держался позади метрах в восьмидесяти, то немного ближе, то дальше. На резких поворотах, когда машину заносило и меня отбрасывало влево, он отставал, не думаю, чтобы не мог выдержать темпа. Может быть, водитель боялся. Впрочем, там не было никакого водителя. Но какое мне дело до этого глидера?

А дело все-таки было, потому что я чувствовал,

что он висит у меня на хвосте не случайно. И вдруг мне пришло в голову, что это Олаф, Олаф, который, не доверяя мне ни на грош (и правильно), затаился где-то и выжидал развития событий. И при мысли, что там мой избавитель, мой дорогой, старый Олаф, который опять не даст мне сделать того, что я хочу, и будет мне старшим братом, утешителем, меня охватила такая ярость, такое бешенство, что несколько секунд я вообще не разбирал дороги.

«Какого дьявола меня не оставляют в покое?!» — подумал я и начал выжимать из машины последние возможности, последние крупицы, словно бы не знал, что глидер все равно может идти вдвое быстрее. Так мы мчались в ночи, между холмов, усыпанных огоньками, а сквозь дикий свист рассекаемого воздуха уже был слышен невидимый, распростертый впереди огромный, словно выплывающий из бездонных пропастей шум океана.

«Ну и догоняй, — думал я. — Догоняй. Ты не знаешь того, что знаю я. Ты следишь за мной, преследуешь меня, не даешь мне покоя — прекрасно; но я перехитрю тебя, выскользну, убегу, ты и моргнуть не успеешь; а ты сколько ни бейся, ничего не сможешь сделать, потому что глидер не

сойдет с шоссе. Так что даже в последнюю минуту у меня будет чистая совесть. Очень хорошо!!»

Я как раз проезжал мимо домика, в котором мы жили, — три его освещенных окна сверкнули мне в лицо, словно затем, чтоб доказать, что нет такой муки, которую нельзя еще больше углубить, и я вышел на последний отрезок шоссе, параллельный океану. Тогда глидер, к моему изумлению, резко увеличил скорость и стал меня обходить. Я быстро закрыл ему путь, подавшись влево. Он отстал, и так мы маневрировали: как только он хотел выйти вперед, я загораживал машиной левую полосу — так, наверное, раз пять. Неожиданно, несмотря на мои маневры, он начал меня опережать, кузов машины почти вплотную коснулся черной блестящей поверхности безоконного, как бы безлюдного снаряда; я уже не сомневался, что это Олаф, потому что никто другой не осмелился бы сделать подобного, — но ведь не мог же я убить Олафа. Не мог. И я пропустил его. Он вышел вперед, мне показалось, что теперь он пытается загородить мне путь, но он продолжал держаться метрах в пятнадцати перед моим капотом. Ну, подумал я, это мне не помешает. И я немного притормозил, со слабой надеждой, что, может быть, он оторвется, но он

не хотел отдаляться и тоже притормозил. До последнего поворота у скал оставалось около мили, когда глидер пошел еще медленнее: теперь он держался середины шоссе, так, что я не мог его обогнать. Я подумал, что, может быть, мне удастся уже сейчас, но тут не было никаких скал, только песчаный пляж, машина зарылась бы колесами в песок через сто метров, даже не дойдя до океана, — такое идиотство не входило в мои расчеты. Выхода не было, приходилось ехать дальше. Глидер еще больше замедлил скорость, я видел, что он вот-вот остановится: его черный корпус засверкал от тормозных огней будто залитый горящей кровью. В ту же минуту я попытался обойти его резким поворотом, но он преградил мне путь. Он был быстрее и поворотливее — ведь им командовал автомат. У автомата всегда реакция быстрее. Я нажал ногой тормоз, слишком поздно, послышался дикий скрежет, черная масса выросла перед самым стеклом, меня бросило вперед, и я потерял сознание.

Я открыл глаза, как после сна, бредового сна. Мне снилось, что я плаваю. Что-то холодное, мокрое текло у меня по лицу, я почувствовал чьи-то руки; они трясли меня, и услышал чей-то голос.

— Олаф, — пробормотал я. — Зачем, Олаф? Зачем?..

— Эл!!

Меня словно пронзило током, я приподнялся на локте и прямо над собой увидел ее лицо, и, когда я сел, обалдевший, неспособный соображать, она медленно опустилась передо мной на колени, плечи ее судорожно вздрагивали, а я все еще не верил. Голова у меня была огромная, как будто ватная.

— Эри, — сказал я онемевшими губами, странно большими, тяжелыми и какими-то не моими. — Эри… Это ты… или мне только…

Неожиданно силы вернулись ко мне, я схватил ее за плечи, поднял, вскочил, закружился на месте с ней — мы оба упали на еще теплый мягкий песок. Я целовал ее соленое, мокрое лицо и плакал, впервые в жизни. И она плакала. Мы долго не говорили ничего. Постепенно мы начали как будто бояться — не знаю чего, — она всматривалась в меня глазами лунатика.

— Эри, — повторял я. — Эри… Эри… — И ничего больше.

Почувствовав неожиданную слабость, я лег на песок, а она, испугавшись, пробовала приподнять меня, но у нее не хватило сил.

— Нет, Эри, — шептал я, — нет, ничего страшного, это просто так…

— Эл! Говори! Говори!

— Что говорить?.. Эри…

Мой голос немного успокоил ее. Она побежала куда-то, вернулась с плоской флягой и опять полила мне лицо водой. Вода была горькой: это была вода океана. «Я собирался глотнуть ее намного больше», — мелькнуло у меня в сознании: я заморгал. Приходил в себя. Сел и потрогал голову.

Я даже не был ранен, волосы смягчили удар, на голове появилась только шишка величиной с апельсин, немного поцарапана кожа, здорово шумело в ушах, но в общем все было в порядке. Я попробовал подняться, но ноги как-то не очень слушались.

Она стояла передо мной на коленях, глядя на меня, опустив руки.

— Это ты? Правда? — спросил я: только теперь я понял. Я резко повернулся и, почувствовав головокружение, вызванное этим движением, увидел при свете молодого месяца в нескольких метрах от нас, на краю шоссе два сцепившихся черных силуэта. Когда я снова взглянул на нее, у меня захватило дыхание.

— Эл…

— Да?

— Попытайся встать… я помогу тебе…

— Встать?

Видимо, с головой у меня было еще не все в порядке. Я и понимал, что произошло, и не понимал. Так, значит, в глидере была Эри? Но это невозможно!

— Где Олаф? — спросил я.

— Олаф? Не знаю.

— Как?.. Разве его тут не было?

— Нет.

— Ты одна?

Она кивнула.

И вдруг я ужасно, нечеловечески испугался.

— Как ты могла! Как ты могла!

Ее лицо дрожало, губы тряслись, она с трудом произнесла:

— Я… не могла иначе…

Она опять плакала. Постепенно утихла, успокоилась. Потрогала мое лицо, лоб. Легкими прикосновениями ощупывала мою голову, а я повторял, одним дыханием:

— Эри… это ты?

Потом я медленно встал, она, как могла, поддерживала меня; мы дошли до шоссе. Только там я увидел, как выглядела машина; капот, весь перед,

все сплющилось в гармошку. Зато глидер почти не был поврежден — только теперь я осознал его превосходство — ничего, кроме небольшой вмятины сбоку, там, куда пришелся основной удар.

Эри помогла мне забраться в глидер, вывернула его так, что корпус моей машины, протяжно грохоча железом, свалился набок. Мы возвращались. Я молчал; плыли огни. Голова качалась на плечах, все еще огромная и тяжелая. Мы остановились перед домиком. Окна были освещены, словно мы никогда и не уезжали. Она помогла мне войти. Я лег. Она, обогнув стол, направилась к двери.

Я вскочил:

— Ты уходишь?

Она подбежала ко мне, опустилась на колени перед кроватью и отрицательно покачала головой.

— Нет?

— Нет.

— И никогда не уйдешь?

— Никогда.

Я обнял ее. Она прижалась щекой к моему лицу, а из меня уходило все: остывающая накипь гнева, ярости и безумия последних часов, страх, отчаяние. Я лежал опустошенный, словно мертвый, и только прижимал ее все сильнее, и силы

будто возвращались ко мне, и была тишина, свет блестел в золотой обивке комнаты, а где-то далеко, как бы в ином мире, за открытыми окнами шумел Тихий океан.

Это может показаться странным, но мы ничего не говорили ни в тот вечер, ни в ту ночь. Ничего, ни одного слова. Только назавтра, к концу дня я узнал, как это было: едва я уехал, она догадалась обо всем и ужаснулась. И не знала, что делать. Сначала хотела позвать белого робота, но поняла, что это не поможет; он тоже — она не называла его иначе, — он бы тоже не помог. Может быть, Олаф. Олаф наверняка, но она не знала, где его искать, впрочем, уже не было времени. Тогда она взяла домашний глидер и поехала за мной. Быстро догнала меня и держалась позади, пока еще можно было надеяться, что я возвращаюсь в домик.

— Ты бы пришла туда? — спросил я.

Она колебалась.

— Сама не знаю. Думаю, что да. Сейчас я так думаю, но сама не знаю.

Потом, увидев, что я еду дальше, она испугалась еще больше. Остальное я знал.

— Нет. Ничего не понимаю, — сказал я. — Вот теперь я действительно не понимаю. Как ты мог-

ла это сделать?

— Я сказала себе, что… что ничего не случится.

— Ты понимала, что я хочу сделать и где?

— Да…

— Как ты догадалась?

После долгого молчания она ответила:

— Не знаю. Может быть, потому, что я уже немного узнала тебя.

Я молчал. Мне хотелось еще о многом спросить ее, но я не смел. Мы стояли у окна. Не раскрывая глаз, ощущая дыхание океана, я сказал:

— Ну хорошо, Эри… а что теперь? Что будет?

— Я уже сказала.

— Но я не хочу так… — шепнул я.

— Иначе невозможно, — ответила она после долгого молчания. — Да и…

— Что?

— Я не хочу иначе.

В этот день, к вечеру, снова стало как будто хуже. ОНО возвращалось и подступало и отступало — почему? Не знаю. И она, наверное, тоже не знала. Словно мы сближались только перед лицом опасности и только тогда узнавали и по-настоящему могли понять друг друга. Потом пришла ночь. И еще один день.

А на четвертый день я слышал, как она разгова-

ривает по телефону, и ужасно испугался. Потом она плакала. Но за обедом уже улыбалась.

И это был конец и начало. Потому что через неделю мы поехали в Мае, центр округа, и там, в управлении, перед одетым в белое человеком, произнесли формулы, которые сделали нас мужем и женой. В тот же день я телеграфировал Олафу. Назавтра пошел на почту, но от него не было ничего. Я подумал, что он, может быть, переехал куда-нибудь и поэтому ответ запоздал. Но честно говоря, уже тогда, на почте, я почувствовал беспокойство, потому что это молчание не было свойственно Олафу, но из-за всего, что произошло, я думал об этом всего минуту и не сказал Эри ни слова. Как будто забыл.

VI

Наш брак, заключенный только благодаря моему неистовству, оказался неожиданно удачным. В нашей жизни произошел довольно своеобразный раздел. Когда возникало расхождение во взглядах, Эри умела отстаивать свою точку зрения, но в таких случаях речь шла о вопросах общего характера; она была, например, убежденной сторонницей бетризации и отстаивала ее отнюдь не книжными аргументами. То, что она противопоставляла свое мнение моему так открыто, я считал хорошим признаком, но наши споры происходили днем. Засветло она не решалась, вернее, не хотела говорить обо мне беспристрастно, спокойно. Видимо, она не знала, когда ее слова будут относиться только ко мне, к моим личным недостаткам, будут уязвлять лишь мелочную гордость «человека из консервной банки», если пользоваться выражением Олафа, а когда будут направлены уже против самой сущности моей эпохи. Зато по ночам — как бы потому, что мрак несколько затушевывал меня, — она говорила обо мне, то есть о нас, и я был рад этим тихим

беседам в темноте, милостиво скрывавшей то и дело прорывавшееся у меня изумление.

Она рассказывала и о себе, о своем детстве, и я во второй, а вернее, в первый раз — потому что теперь это было наполнено реальным, человеческим содержанием — узнавал, как искусно было построено это общество непрерывной, тонко стабилизированной гармонии. Считалось естественным, что воспитание детей требует высокой квалификации и всесторонней подготовки, даже специального обучения; чтобы получить разрешение завести ребенка, супруги должны были сдавать что-то вроде экзаменов; вначале это показалось мне весьма странным, но, подумав, я вынужден был признать, что парадоксальность обычаев отягощала скорее нас, а не их, — в старом обществе нельзя было, например, строить дом, мост, лечить болезни, наконец, просто выполнять административную работу, не имея соответствующего образования, и только наиболее ответственное дело — рождение детей, формирование их психики — было отдано на произвол слепого случая и минутного желания, а общество вмешивалось лишь тогда, когда ошибки — если они были совершены — уже поздно было исправлять.

Таким образом, право иметь ребенка стало теперь особым отличием, его давали не всякому; дальше — родители не могли изолировать детей от их сверстников — создавались специально подобранные смешанные группы девочек и мальчиков, в которых были представлены различнейшие темпераменты; так называемые «трудные дети» подвергались дополнительным гипнологическим процедурам, а всеобщее обучение начиналось необычайно рано. Это не была наука чтения и письма: чтению и письму учили куда позже; специальное воспитание самых маленьких состояло в том, что их знакомили — при помощи специальных игр — с устройством и жизнью мира и Земли, с богатством и разнообразием форм общественной жизни; таким естественным образом уже в четырех-пятилетнем возрасте детям прививались принципы терпимости и уважения к другим мнениям и точкам зрения, правила общежития, внушалась несущественность внешних, физических черт. Все это я, конечно, одобрял, но с одной, весьма существенной оговоркой. Ведь незыблемой основой этого мира, его Высшим законом была бетризация. Воспитание было направлено именно к тому, чтобы принимать ее как реальность, подобную рожде-

нию или смерти. Слыша от Эри, как преподают в школе историю минувших эпох, я едва сдерживал ярость. В современной трактовке это были времена зверства и варварского, безудержного размножения, бурных экономических и военных катастроф, а достижения цивилизации, которые невозможно было замолчать, изображались ими как проявление тех сил и стремлений, которые позволяли людям побеждать тьму и жестокость эпохи; таким образом эти достижения пробивали себе путь как бы вопреки господствовавшей тогда тенденции жизни за счет других. То, говорили они, что раньше достигалось с величайшим трудом, чего могли добиться только немногие, к чему раньше вела дорога, полная опасностей, самоотречений, компромиссов, моральных поражений, все это теперь является всеобщим, доступным и надежным.

Пока эти рассуждения затрагивали многочисленные отрицательные стороны прошлого — например, войну, — я готов был согласиться; я также признавал достижением, а не недостатком отсутствие — полное! — всякой политики, всех этих столкновений, напряжений, международных конфликтов. Это было настолько удивительно, что я вначале подозревал, что

они существуют, только просто замалчиваются; гораздо хуже было, когда эта переоценка касалась моих личных дел. Потому что не только Старк своей книгой (написанной, добавляю, за полвека до моего возвращения) перечеркивал космические путешествия. Тут Эри, аспирантка-археолог, могла научить меня многому. Уже первые бетризованные поколения коренным образом изменили свои взгляды на астронавтику, но, хотя отношение к ней стало отрицательным, она продолжала будоражить умы. Считалось, что была совершена трагическая ошибка, достигшая кульминации как раз в годы подготовки нашего полета, так как именно в ту пору подобные экспедиции отправлялись одна за другой; ошибка состояла не только в том, что результаты этих экспедиций оказались ничтожными, а полеты в околосолнечном пространстве в радиусе нескольких световых лет сверх открытия на нескольких планетах примитивных и совершенно чуждых нам форм жизни не привели к контакту ни с одной высокоразвитой цивилизацией.

Наихудшим считалось даже не то, что по мере удаления намеченных целей от Солнца чудовищная продолжительность полета должна была превратить экипажи кораблей, этих посланцев

и представителей Земли, в скопище несчастных, смертельно уставших существ, которые после высадки — на Земле или ТАМ — будут нуждаться в заботливом уходе и в длительном лечении, так что посылка этих энтузиастов превратилась бы в бессмысленную жестокость; нет, не это считалось самым страшным. Наиболее существенным считали то, что Космосом старалась овладеть Земля, та самая Земля, которая не сделала еще всего для себя самой, ведь никакие космические подвиги не могли покончить с человеческими мучениями, с несправедливостью, страхом и голодом на земном шаре.

Но так рассуждало только первое бетризованное поколение, а потом, естественно, наступило забвение и безразличие; дети, узнавая о романтической эпохе астронавтики, поражались ей, быть может, даже чуточку боялись своих непонятных предков, столь же чуждых и загадочных, как их прапрадеды, запутавшиеся в грабительских войнах и походах за золотом. Именно это безразличие изумляло меня больше всего, потому что оно было хуже безоговорочного осуждения. То, ради чего мы готовы были отдать жизнь, теперь окружено молчанием, похоронено и предано забвению.

Эри не торопилась обратить меня в свою веру, не пыталась сделать меня энтузиастом нового мира. Просто говоря о себе, она рассказывала о нем, а я — именно потому, что она говорила о себе и собою свидетельствовала о нем, — не мог просто так отмахнуться от его достоинств.

Их цивилизация была лишена страха. Все, что существовало, служило людям. Ничто не имело значения, кроме их удобств, удовлетворения и насущнейших, и наиболее изысканных потребностей. Всюду, во всех областях, где сам человек, ненадежность его эмоций, медлительность реакций могли создать хотя бы минимальный риск, он был заменен мертвыми устройствами, автоматами.

Это был мир, закрытый для опасности. Угрозе, борьбе, насилию в нем не было места: мир кротости, мягких форм и обычаев, конфликтов неострых, ситуаций недраматических, мир столь же поразительный, пожалуй, как моя или наша (я имею в виду Олафа) реакция на него.

Ведь мы в течение десяти лет хлебнули столько ужасов, всего того, что противно естеству человека, что ранит его и ломает, и возвращались, такие сытые этим, сытые по горло; ведь каждый из нас, скажи ему кто-нибудь, что возвращение

запаздывает, что впереди новые месяцы пустоты, перегрыз бы, наверное, говорящему глотку. И вот мы, уже не имевшие сил переносить постоянный риск, слепую вероятность метеоритного попадания и это вечное напряженное ожидание и муки, когда какой-нибудь Ардер или Эннессон не возвращался из разведывательного полета, — мы вдруг начинали ссылаться на это время ужаса, как на что-то единственно истинное, настоящее, придающее достоинство и смысл нашему существованию. А ведь я еще и теперь содрогался, вспомнив, как, сидя, лежа, вися в самых странных позах в круглой радиокабине, мы ждали и ждали в тишине, прерываемой только мерным звучанием позывных корабля, и видели, как в мертвом голубом свете капли пота стекают со лба радиотелеграфиста, застывшего в таком же ожидании, в то время как аварийные часы неслышно отсчитывали секунды, минуты, так что наконец тот миг, когда стрелка касалась красной точки диска, приносил облегчение. Да, облегчение… потому что тогда наконец можно было кинуться на поиски и погибнуть самому, а это действительно казалось легче, чем ожидание. Мы, пилоты, не ученые, были старыми волками, наше время остановилось еще за три года до

настоящего старта. Все эти три года нас приучали ко все возрастающим психическим перегрузкам. Они проводились в три основных этапа, которые мы коротко называли Прессом, Дворцом Духов и Коронацией.

Дворец Духов. Человека запирали в небольшой камере, так изолированной от мира, как только можно себе представить. Туда не проникал ни один звук, ни луч света, ни атом воздуха, ни родившееся снаружи колебание. Похожая на небольшую ракету капсула была оборудована фантоматической аппаратурой, снабжена запасами воды, продовольствия и кислорода. И в ней нужно было жить в бездействии, в томительном ожидании месяц, казавшийся вечностью. Ни один человек не выходил оттуда таким же, каким вошел. Мне, одному из самых крепких подопечных доктора Янссена, только на третью неделю начали чудиться те странные вещи, которые подстерегали других уже на четвертый, пятый день: безликие чудовища, бесформенные толпы, выползающие из мертвенно светящихся приборных щитков, чтобы вести со мной бессвязные разговоры, висеть над моим вспотевшим телом, а оно в это время расплывалось, изменялось, разрасталось, наконец — и это было, пожалуй, самое

ужасное — начинало как бы обосабливаться: сначала подергивались отдельные волоконца мышц, затем появились раздражения и онемения, судороги, потом какие-то движения, которые я уже наблюдал словно совсем со стороны, ничего не понимая; и если бы не предварительная тренировка, если бы не теоретические указания, я готов был бы считать, что моими руками, шеей, головой овладели демоны. Стены капсулы становились свидетелями сцен, которые невозможно описать, назвать; Янссен и его люди с помощью соответствующих аппаратов наблюдали за тем, что делалось внутри, но никто из нас тогда об этом не знал. Ощущение изоляции должно было быть подлинным и полным. Исчезновение некоторых ассистентов доктора было для нас непонятным. Уже во время полета Гимма сказал мне, что они просто не выдерживали. Один, некто Гоббек кажется, пытался силой открыть капсулу, потому что не мог больше смотреть на муки запертого в ней человека.

Но это был всего лишь Дворец Духов. Потом следовал Пресс, с его качелями и центрифугами, с адской ускорительной машиной, которая могла дать 400 g — ускорение, разумеется никогда не применявшееся, потому что оно превратило бы

человека в мокрое место, но и ста g было достаточно, чтобы в долю секунды спина испытуемого стала липкой от выдавленной через кожу крови.

Третье испытание, Коронацию, я прошел совершенно нормально. Это было уже последнее решето, последняя ступень отсева. Аль Мартин, парень, который тогда, на Земле, выглядел, как я сегодня — колосс, глыба железных мускулов, олицетворение спокойствия, — вернулся с Коронации на Землю в таком состоянии, что его сразу вывезли из Центра.

Эта Коронация была очень простой штукой. Человека одевали в скафандр, выводили на орбиту и на высоте около ста тысяч километров, там, где Земля светила, как пятикратно увеличенная Луна, выбрасывали из ракеты в пустоту, а сами улетали. И надо было висеть в пустоте, болтая руками и ногами, и ждать их возвращения, спасения; скафандр был надежный, удобный, имел кислородную аппаратуру, климатизацию, обогревался каждые два часа, кормил человека питательной пастой, выжимаемой из специального мундштука. Так что ничего страшного не могло случиться, разве что испортился бы прикрепленный снаружи к скафандру автоматический пеленгационный передатчик. В этом

скафандре не было только одной необходимой вещи — радиосвязи, не было умышленно, разумеется, так что в нем нельзя было услышать ни одного голоса, кроме собственного. Среди этой нематериальной черноты и звезд надо было ждать. Довольно долго, правда, но не бесконечно. И это все.

Да, но люди сходили от этого с ума; на ракету Базы их втаскивали извивающимися, в каких-то эпилептических конвульсиях. Это было наиболее противно самому естеству человека — абсолютное уничтожение, потеря себя, смерть в полном сознании, это было знакомство с вечностью, которая проникала в человека и давала ему почувствовать свой чудовищный вкус. Представление о бесконечной бездне внеземного существования, всегда считавшейся невероятной, непостижимой, становилось нашим уделом; бесконечное падение, звезды между ненужными, извивающимися ногами, бесполезность, ненужность рук, губ, жестов, всякого движения и неподвижности, в скафандрах нарастал крик, несчастные выли… Хватит?

Довольно вспоминать то, что было только проверкой, прелюдией, продуманной и разыгранной с величайшей предусмотрительностью: ни один

«коронованный» в физическом смысле не пострадал; всех отыскала ракета Базы. Правда, нам даже этого не говорили, чтобы реальность ситуации была по возможности максимальной.

Я прошел Коронацию прекрасно, потому что у меня была своя система. Очень простая, но не очень честная: этого нельзя было делать. Когда меня выкинули из люка, я закрыл глаза. Потом размышлял о разных вещах. Единственное, что требовалось, — воля. Ты должен был сказать себе, что не откроешь своих несчастных глаз, что бы ни случилось. Янссен, мне кажется, знал о моей выдумке. Однако это не имело для меня никаких последствий. Может быть, он считал, что я действовал правильно?

Но все это происходило на Земле или вблизи нее. Потом пришла уже не выдуманная и не искусственно созданная в лаборатории пустота, которая убивала всерьез и которая иногда милостиво позволяла уцелеть Олафу, Гимме, Турберу, мне, тем семерым с «Одиссея», — и даже позволила нам вернуться. А после этого мы, ничего не жаждавшие так, как покоя, увидев нашу мечту идеально осуществленной, тут же почувствовали к ней отвращение. Кажется, Платон сказал: «Несчастный, ты получишь то, что хотел».

VII

Как-то ночью, очень поздно, мы лежали, измученные любовью. Эри прикорнула у меня на руке. Подняв глаза, я мог видеть через открытое окно звезды в просветах туч. Ветра не было, занавеска застыла белесым призраком, по открытому океану шла мертвая волна, и до меня долетал предшествующий ей протяжный рокот, а потом порывистый гул, с которым она ломилась на пляжи; на несколько ударов сердца наступала тишина, и снова невидимые волны обрушивались в темноте на отлогий берег. Но я почти не слышал этого мерно повторяющегося напоминания о том, что за окном Земля, и широко раскрытыми глазами всматривался в Южный Крест. Бета Креста была нашим проводником, и каждый новый день на «Прометее» я начинал с ее измерений, так что вскоре производил их уже совершенно автоматически, поглощенный другими мыслями. Она вела нас безотказно — никогда не угасающий маяк пустоты. Я и сейчас почти физически ощущал в руках металлические рукоятки, которые передвигал, чтобы светящуюся точку, острие

тьмы, ввести в центр поля зрения окуляра, большой резиновый обруч которого охватывал мне лоб и щеки. Эта звезда, одна из самых дальних, почти не изменилась даже у самой цели, светя с одинаковым бесстрастием и тогда, когда весь Южный Крест давно уже распался и перестал для нас существовать, ибо мы вторглись в глубь его ветвей, и тогда наконец эта белая точка, этот звездный гигант перестал быть для нас тем, чем казался вначале — вызовом; его неизменность показала нам свое истинное значение. Звезда была свидетельством ничтожности нашего замысла, равнодушия пустоты, с которым никто никогда не сможет примириться.

Но сейчас, пытаясь в перерыве между двумя вздохами океана уловить дыхание Эри, я почти не верил в это. Я мог твердить про себя: «Я там был, я там действительно был», — но это нисколько не уменьшало моего безграничного изумления. Эри вздрогнула. Я хотел подвинуться, дать ей больше места, и вдруг почувствовал на себе ее взгляд.

— Ты не спишь? — прошептал я и наклонился, чтобы губами коснуться ее губ, но она положила мне на губы кончики пальцев. Держала их так минуту, потом скользнула рукой вдоль моей шеи к груди, обвела твердое углубление между ребер,

прижала к нему ладонь.

— Что это?

— Шрам.

— Откуда?

— Так, случайность.

Она замолчала. Я чувствовал, что она смотрит на меня. Подняла голову. Ее глаза были совершенно темные, без блеска, я различал лишь белый контур плеча, поднимающегося в такт дыханию.

— Почему ты не говоришь мне ничего? — прошептала она.

— Эри?..

— Почему ты не хочешь рассказать?

— О звездах? — неожиданно понял я. Она молчала. Я не знал, что сказать.

— Думаешь, я не пойму?

Я смотрел на нее сквозь мрак, сквозь шум океана, который то заполнял, то покидал комнату, и не знал, как объяснить ей это.

— Эри…

Я хотел ее обнять. Она высвободилась и села на кровати.

— Можешь не рассказывать, если ты хочешь. Но объясни почему?

— Не знаешь? Ты правда не понимаешь?

— Теперь уже знаю. Ты хотел меня… поща-

дить?

— Нет. Просто я боюсь.

— Чего?

— Сам толком не знаю. Не хочу в этом копаться. Я ничего не зачеркиваю. Да это, пожалуй, и невозможно. Но рассказывать — значит, мне кажется, замкнуться в этом, уйти от всех, от всего, от того, что есть… сейчас.

— Понимаю, — сказала она тихо. Бледное пятно ее лица исчезло, она опустила голову. — Думаешь, я считаю это бессмысленным…

— Нет, нет, — пытался я перебить ее.

— Погоди. Теперь я. То, что я думаю об астронавтике и что сама я никогда не покинула бы Землю, — это одно. Но это не имеет ничего общего с тобой и со мной. Вернее, имеет: потому что мы вместе. Иначе не были бы никогда. Для меня астронавтика — это ты. Поэтому мне так хотелось бы… но ты не обязан. Если все так, как ты говоришь. Если ты так чувствуешь.

— Хорошо, я расскажу.

— Но не сегодня.

— Сегодня.

— Ляг.

Я опустился на подушку. Она встала, на цыпочках подошла к окну, белея в темноте. Задернула

занавеску. Звезды исчезли, остался только протяжный, настойчивый шум океана. Я уже почти ничего не различал в темноте. Движение воздуха выдало ее шаги, постель прогнулась.

— Ты видела когда-нибудь корабль класса «Прометея»?

— Нет.

— Он очень большой. На Земле он весил бы свыше трехсот тысяч тонн.

— А вас было так мало?

— Двенадцать. Том Ардер, Олаф, Арне, Томас — пилоты. Ну и я. И семь человек ученых. Но если ты думаешь, что там было просторно, ты ошибаешься. Девять десятых массы — горючее. Фотореакторы. Склады, запасы, резервные системы — на жилую часть приходилось совсем немного. У каждого из нас была кабина, не считая общих. В центральной части корпуса — штурманская. Малые ракеты для посадки и ракеты-зонды еще меньшего размера — для взятия проб короны…

— Ты был над Арктуром — в такой?

— Да. И Ардер тоже.

— А почему вы не полетели вместе?

— В одной ракете? Это уменьшает шансы.

— Почему?

— Зонд — это главным образом охлаждение, понимаешь? Этакий летающий холодильник. Места ровно столько, чтобы человек мог сесть. Сидишь в ледяной скорлупе. Лед тает со стороны панциря и снова скапливается на трубах. Компрессоры могут отказать. Достаточно минуты — и конец, потому что снаружи восемь, десять или двенадцать тысяч градусов. Если компрессоры откажут в двухместной ракете, погибнут двое. А так — только один. Понимаешь?

— Понимаю.

Она держала руку на шраме.

— Это… случилось там?

— Нет. Эри… может быть, лучше рассказать о чем-нибудь другом?

— Хорошо.

— Только не думай… этого никто не знает.

— Этого?..

Шрам под теплом ее пальцев как бы начинал оживать.

— Да.

— А Олаф?

— Олаф тоже. Никто. Я обманул их, Эри. Я должен тебе сказать. Я слишком далеко зашел… Эри… это было на шестой год. Мы уже возвращались, но внутри облака нельзя идти быстро.

Это величественная картина, чем быстрее идет корабль, тем сильнее люминесцирует облако. За нами тянулся хвост — не такой, как у кометы, скорее как полярное сияние — раскинувшийся по бокам, в глубь неба, к альфе Эридана, на тысячи и тысячи миль… Ардера и Эннессона уже не было. Вентури тоже. Я всегда просыпался в шесть утра, когда освещение переходило из голубого в белое. Услышал Олафа, он говорил из рубки управления. Он заметил что-то интересное. Я пошел вниз. Радар показывал пятнышко, немного в стороне от курса. Пришел Томас, и мы гадали, что это может быть. Для метеорита оно было слишком велико, к тому же метеориты никогда не ходят в одиночку. На всякий случай мы сбавили скорость еще больше. Это разбудило остальных. Когда они пришли, помню, Томас шутил, что это наверняка корабль. Так не раз говорили. В пространстве должны быть корабли других систем, но легче встретиться двум комарам, выпущенным на противоположных полушариях Земли. Мы уже были на выходе из этого холодного пылевого облака, пыль настолько поредела, что невооруженным глазом уже можно было различить звезды шестой величины. Пятнышко оказалось планетоидом. Что-то вроде Весты. Примерно четверть биллиона тонн

— может, чуть побольше. Исключительно правильный, почти шар. Редкость. Он был у нас по курсу в двух миллипарсеках. Шел с космической скоростью, а мы за ним. Турбер спросил, можем ли мы подойти ближе. Я сказал, что можем, на четверть микропарсека.

Мы приблизились. В телескопе он напоминал дикобраза — шар, ощетинившийся иглами. Диковинка — хоть прямо в музей. Турбер начал спорить с Белем, тектонического ли он происхождения. Томас вставил, что это можно проверить. Никакой затраты энергии, мы все равно еще не начали разгона. Он-де полетит, возьмет несколько осколков и вернется. Гимма колебался. Времени у нас хватало, даже имелся резерв. В конце концов согласился. Наверное, потому, что там был я. Хотя я молчал. Может быть, именно поэтому. Между нами сложились такие отношения, но об этом как-нибудь потом. Мы заспорили; этот маневр требует некоторого времени; пока мы маневрировали, планетка удалилась, мы держали ее на радарах. Я немного нервничал, потому что с того момента, как мы повернули к Земле, нас преследовали неудачи. Аварии глупые, но трудно устранимые и возникавшие как бы без всякого видимого повода. Я не считаю себя суеверным,

хотя и верю, что, как говорится, беда никогда не приходит одна. Однако у меня не хватало доказательств. Это выглядело по-детски, и все же я сам проверил двигатель Томаса и сказал ему, чтобы он был осторожен. Пыль.

— Что?

— Пыль. В пределах холодного облака планетоид действует как пылесос, понимаешь? Собирает пыль из пространства, в котором кружит. Времени для этого у него достаточно. Пыль оседает слоями, так что может увеличить его объем раза в два. Но достаточно дунуть дюзами или даже топнуть покрепче, и пыль взлетает и остается висеть. Казалось бы, мелочь, но сквозь нее ничего не видно. Ну, я ему об этом и сказал. Впрочем, Томас и сам знал не хуже меня. Олаф выпустил его из бортовой катапульты, я пошел наверх в штурманскую и повел его. Видел, как он подходил, как маневрировал, повернул ракету и ровненько, словно по ниточке, стал опускаться на поверхность. Тогда я, конечно, потерял его из вида, хотя до него было не больше трех миль.

— Ты видел его в радаре?

— Нет. В телескоп. Инфракрасный. Но мы разговаривали с ним все время. По радио. И только я подумал, что давно не видел, чтобы Томас так

осторожно садился — мы все стали чертовски осторожными с тех пор, как повернули к Земле, — как вдруг я заметил небольшую вспышку, и темное пятно начало расползаться по поверхности планетоида. Гимма, стоявший рядом со мной, крикнул. Он думал, что Томас в последний момент, чтобы притормозить падение, ударил огнем, понимаешь. Дают один моментальный удар, только, конечно, не в таких условиях. Я-то знал, что Томас никогда бы этого не сделал. Это была молния.

— Молния? Там?

— Да. Видишь ли, каждое тело, движущееся с большой скоростью в облаке, заряжается от трения статическим электричеством. Между «Прометеем» и этой планетой имелась разница потенциалов в несколько миллиардов вольт. Когда Томас садился, проскочила искра. Это и была та вспышка, а от резкого повышения температуры пыль взметнулась вверх, и спустя минуту весь диск был уже затянут тучей. Мы не слышали Томаса — его радио только потрескивало. Я был в ярости, больше на себя, что не учел этого. Ракета снабжена специальными кольцевыми токоотводами, и заряд должен был спокойно уйти. Но не ушел. Конечно, случаются разряды, но

не такие. Этот был исключительной мощности. Гимма спросил меня, когда, по моему мнению, туча осядет. Турбер не спрашивал ни о чем. Было ясно, что нужно время. Много суток.

— Суток?

— Да. Тяготение там чрезвычайно слабое. Камень, выпущенный из руки, падает иногда несколько часов. А что уж говорить о пыли, выброшенной на сотни метров вверх?! Я сказал Гимме, чтобы он занялся своими делами, потому что придется ждать.

— И ничего нельзя было сделать?

— Ничего. То есть если бы я был уверен, что Томас сидит в ракете, я мог бы рискнуть. Повернул бы «Прометей», подошел и дунул в дюзы с близкого расстояния полной тягой, чтобы эта пакость разлетелась на всю Галактику, но у меня не было такой уверенности. А искать его?.. Поверхность планетоида по величине равнялась, наверно, Корсике. Кроме того, в пылевой туче я мог бы пройти мимо него на расстоянии вытянутой руки и не заметить. Был один выход. Он был у Томаса в руках. Он мог стартовать и вернуться.

— И не сделал этого?

— Нет.

— Не знаешь почему?

— Догадываюсь. Пришлось бы стартовать вслепую. Я-то видел, что облако поднимается всего на полмили от поверхности, но он этого не знал. Он боялся столкновения с каким-нибудь гребнем, скалой. Ведь он мог опуститься на дне какой-нибудь глубокой расселины. Ну и висели мы так день, другой — кислорода и запасов продовольствия у него было на шесть суток. Конечно, никто ничего не мог сделать. Ходили и придумывали, как бы вытащить Томаса из этой ловушки. Излучатели. Волны различной длины. Мы даже осветители туда кидали. Ни черта, туча была черной, как могила. Третий день — третья ночь. Измерения говорили, что пыль спадает, но я не был уверен, спадет ли она полностью за те семьдесят часов, что остались Томасу. Без пищи он, конечно, мог просидеть там и дольше, но не без воздуха. Вдруг мне в голову пришла идея. Я рассуждал так: ракета Томаса в основном состоит из стали. Если на этом проклятом планетоиде нет месторождений железных руд, то, может, его удастся обнаружить ферроискателем. Таким аппаратом для обнаружения железных предметов, знаешь. У нас был очень чувствительный, он реагировал на гвоздь на расстоянии трех четвертей километра. Ракету обнаружил бы за несколько

миль. Мы с Олафом еще кое-что проверили в аппарате. Потом я сказал Гимме, что и как, и полетел.

— Один?

— Да.

— Почему один?

— Потому что без Томаса нас, пилотов, оставалось уже только двое, а «Прометей» не мог рисковать.

— И они согласились?

Я улыбнулся в темноте.

— Я был первым пилотом. Гимма не мог мне приказывать, он мог только советовать, а я взвешивал все «за» и «против» и говорил «да» или «нет». То есть говорил, конечно, «да». Но в аварийных случаях решение зависело от меня.

— А Олаф?

— Ну, Олафа ты уже немного знаешь и, конечно, понимаешь, что я полетел не сразу. Но в конце концов, ведь это я, в сущности, послал Томаса. Он не мог возражать. В общем, полетел я. Конечно, без ракеты.

— Без ракеты?

— Да. В скафандре, с газовым пистолетом. Это было немного дольше, но не так уж долго, как кажется. Пришлось повозиться с ферроискателем.

Это был здоровый сундучище, ужасно неудобный. Разумеется, там он ничего не весил, но, когда я вошел в тучу, мне приходилось все время быть начеку, чтобы обо что-нибудь не стукнуться. В тучу я вошел незаметно, только звезды начали исчезать, сначала по краям, потом черным стало уже полнеба. Я оглянулся. «Прометей» весь светился издалека, у него было приспособление для люминезирования панциря. Он выглядел как белый, длинный карандаш с грибком на конце, — это был фотонный отражатель. Вдруг все исчезло. Переход был резким. Секунда черного тумана, а потом ничего. Радио у меня было выключено, вместо него в наушниках пел ферроискатель. До края тучи я летел не больше пяти минут, а падал на поверхность планетки около двух часов — приходилось соблюдать осторожность. Электрический фонарь оказался бесполезным, как я, впрочем, и ожидал. Я начал поиски. Знаешь, как выглядят большие сталактиты в пещерах?..

— Знаю.

— Там было что-то в этом роде, только еще более необычно. Я говорю о том, что было позже, когда туча уже спала, потому что во время поисков не было видно ничего, словно кто-то залил смолой стекло скафандра. Ящик был у меня на ремнях.

Приходилось двигать антенкой, прислушиваться, идя с вытянутыми руками, — никогда в жизни я не падал столько раз, сколько там. Это неопасно только из-за слабого притяжения, и, конечно, если б хоть немного было видно, можно было бы сто раз успеть выпрямиться. Человеку, который этого не знает, трудно рассказать… Планетка была сплошным нагромождением игл, балансирующих скал — я ставил ногу и начинал с пьяной медлительностью куда-то падать. Оттолкнуться не смел, потому что потом четверть часа летел бы вверх. Приходилось просто ждать: как только я пытался идти дальше, осыпи смещались под ногами. Все эти валуны, столбы, каменные обломки — все это было едва сцеплено, потому что связывала их сила чрезвычайно слабая. Впрочем, не думай, что, падая на человека, большой валун не мог его там убить… Тут действует уже не вес, а масса; правда, всегда есть время отскочить, если, конечно, видишь или хотя бы слышишь этот обвал. Но ведь там и воздуха не было, только по дрожанию скалы под ногами я догадывался, что, должно быть, снова вывел из равновесия какую-нибудь каменную глыбу, и потом оставалось только ждать, не вынырнет ли из этой тьмы обломок, который начнет тебя придавли-

вать… Одним словом, так я блуждал несколько часов и давно перестал считать гениальной свою идею с ферроискателем. Вдобавок приходилось остерегаться каждого шага еще и потому, что по неосмотрительности я уже несколько раз оказывался в воздухе, попросту повисал… как в диком сне. Наконец я поймал сигнал. Я терял его, наверное, раз восемь, не помню точно, во всяком случае, когда я отыскал наконец ракету Томаса, на «Прометее» была уже ночь.

Ракета стояла наклонно, наполовину зарывшись в ту чертову пыль. Эта пыль — ну, нечто самое мягкое, самое тонкое на свете, понимаешь? Почти нематериальное… Самый легкий пух на Земле оказывает большее сопротивление. Пылинки так невероятно малы… Я заглянул внутрь — Томаса в ракете не было. Я сказал, что она стояла наклонно, но совсем не был в этом уверен; без специальных аппаратов там трудно было определить вертикаль. И для измерений потребовался бы добрый час, а обычный отвес — ведь он там почти ничего не весил — порхал бы на конце шнурка, как муха, вместо того чтобы висеть как полагается… Поэтому я не удивился, что Томас не пробовал стартовать. Я влез внутрь. Сразу обнаружил, что он пытался установить

точную вертикаль, воспользовавшись тем, что было под рукой, но у него ничего не вышло. Пищи у него оставалось довольно много, зато кислорода не было. Видимо, он перекачал все, что имел, в баллон скафандра и вышел.

— Зачем?

— Я тоже спрашивал себя зачем. Он пробыл там три дня. В такой ракете есть только кресло, экран, рычаги и люк за спиной. Я сидел там несколько минут. Уже было ясно, что я его не найду. Сначала я думал, что, может, он вышел как раз тогда, когда я прилетел, что он использовал газовый пистолет, чтобы вернуться на «Прометей», и уже сидит там, а я тут ползаю по этим пьяным камням… Я выскочил из ракеты так энергично, что меня вынесло наверх, и я полетел. Никакого ощущения направления, ничего. Знаешь, как бывает, когда в абсолютной темноте увидишь искорку? Чего только не выдумаешь тогда! Какие лучи, картины! Так вот, чувство равновесия… с ним тоже что-то подобное. Там, где притяжения нет вообще, еще полбеды, если человек привык. Когда же притяжение есть, только очень слабое, как на этой скорлупе… то лабиринт нашего уха реагирует весьма сумбурно, чтобы не сказать по-сумасшедшему. То тебе кажется, что

ты свечой взмываешь вверх, то будто летишь в пропасть — и так все время. А то еще совершенно неожиданно появляется ощущение вращения и взаимного перемещения рук, ног, туловища, словно все поменялось местами, как будто и голова уже находится не там, где ей положено…

Так я летел, пока не треснулся о какую-то глыбу, оттолкнулся, зацепился за что-то, меня перевернуло, но я успел схватиться за выступ глыбы… Там кто-то лежал. Томас.

Эри затаила дыхание. Во тьме шумел Тихий океан.

— Нет. Не то, что ты думаешь. Он был жив. Сразу сел. Я включил радио. На таком небольшом расстоянии мы хорошо слышали друг друга.

«Это ты?» — спросил он.

«Да, это я», — ответил я.

Сцена — как из скверной комедии, с сумасшедшинкой. Но так было. Мы оба встали.

«Как ты себя чувствуешь?» — спросил я.

«Прекрасно. А ты?»

Это меня немного смутило, но я сказал:

«Спасибо, очень хорошо. Дома тоже все здоровы».

Это был идиотизм, но я думал, что он нарочно так — чтобы показать, что еще держится, пони-

маешь?

— Понимаю.

— Когда он стоял совсем рядом, я видел его в свете наплечного фонаря, будто сгусток темноты. Проверил его скафандр — он был цел.

«Кислород у тебя есть?» — спросил я. Это было самое важное.

«А, пустяки», — сказал он.

Я раздумывал, что делать. Взлететь на его ракете? Пожалуй, нет. Слишком рискованно. Правду говоря, я даже не очень обрадовался. Боялся — вернее, чувствовал неуверенность — это трудно объяснить. Ситуация была нереальной, я ощущал в ней что-то странное, хотя не знал что. Я даже не обрадовался нашей чудесной встрече. Я все раздумывал, как спасти ракету. Наконец решил, что не это самое главное. Сначала надо было разобраться, что с ним. Мы продолжали стоять в этой черной беззвездной ночи.

«Что ты делал все это время?» — спросил я. Это было важно. Если он пытался что-нибудь сделать, хотя бы отбивать минералы, — это был бы хороший признак.

«Разное, — сказал он. — А что ты делал, Том?»

«Том?» — переспросил я, и холодок пробежал у меня по спине, потому что Ардер погиб год назад,

и Томас прекрасно знал об этом.

«Ты же Том. Нет? Я узнаю твой голос».

Я промолчал, а он коснулся перчаткой моего скафандра и сказал:

«Чертов мир, правда? Ничего не видно, и ничего нет. Я представлял себе это совсем иначе. А ты?»

Я подумал, что насчет Ардера ему просто почудилось… в конце концов, такое со многими случалось…

«Да, — сказал я. — Тут неинтересно. Пошли, а, Томас?

«Пошли? — удивился он. — Как это… Том?»

Я перестал обращать внимание на этого «Тома».

«Ты разве собираешься тут оставаться?» — сказал я.

«А ты нет?»

Разыгрывает, подумал я, но уже пора, пожалуй, кончать с этими глупыми шуточками.

«Нет, — сказал я. — Надо возвращаться. Где твой пистолет?»

«Потерял, когда умер».

«Что?!»

«Но я не расстраиваюсь, — сказал он. — Мертвому пистолет ни к чему».

«Ну, ну, — сказал я. — Давай-ка я тебя пристег-

ну, и поедем».

«Ты спятил, Том? Куда?»

«На „Прометей“.

«Но его же тут нет…»

«Он там, дальше. Ну, давай я тебя пристегну».

«Подожди».

Он оттолкнул меня.

«Ты как-то странно говоришь. Ты не Том?!»

«В том-то и дело, что нет. Я Эл».

«И ты умер? Когда?»

Я уже начал понимать, что к чему, и стал подлаживаться под него.

«Ну, — сказал я, — несколько дней назад. Давай-ка я тебя все-таки пристегну».

Но он не разрешил. Мы начали бороться, сначала будто в шутку, потом более серьезно, я пытался его схватить, но в скафандре не мог. Что делать? Я не мог оставить его ни на минуту, потому что второй раз я уже не нашел бы его. Чудеса не повторяются. А он хотел там остаться, как умерший. И так слово за слово, когда мне показалось, что я уже убедил его, когда он как будто согласился и я дал ему подержать мой газовый пистолет, тогда он приблизил лицо к моему лицу, так что я почти увидел его через двойные стекла, и крикнул: «Подлец, ты обманул меня! Ты жив!» — и

выстрелил в меня.

Я чувствовал, как Эри уже несколько минут прижимается лицом к моему плечу. При последних словах она вздрогнула, как будто по ней прошел ток, и прикрыла рукой шрам. С минуту мы молчали.

— Это был очень хороший скафандр, — сказал я. — Не лопнул, знаешь. Весь вмялся в тело, сломал ребро, вдавил его, размозжил мышцы, но не лопнул. Я даже не потерял сознания, только некоторое время не мог двинуть рукой и чувствовал по теплу, как внутри скафандра льется кровь. Все-таки на какое-то мгновенье у меня, видимо, закружилась голова, потому что, когда я встал, Томаса не было, и не знаю, когда и как он исчез. Я вслепую искал его, ползая на четвереньках, вместо него нашел пистолет. Он, видимо, бросил его сразу после выстрела. Ну, с его помощью я выбрался. Меня заметили, как только я выскочил из тучи. Олаф подвел корабль еще ближе, и меня втянули. Я сказал, что не нашел Томаса. Что обнаружил только пустую ракету, а пистолет выпал у меня из рук и выстрелил, когда я споткнулся. Скафандр двойной. Кусочек внутреннего панциря отскочил. Он тут, под ребром.

Опять молчание и гул волны, нарастающий,

протяжный, словно она готовилась к прыжку через весь пляж, не смущаясь неудачами своих предшественниц. Расплываясь, она бурлила и разламывалась, был слышен ее мягкий пульс, все более близкий и тихий.

— Вы улетели?..

— Нет. Ждали. Еще через два дня туча спала, и я полетел второй раз. Один. Сама понимаешь почему.

— Понимаю.

— Я быстро нашел его, потому что скафандр светился в темноте. Он лежал под каменной иглой. Лица не было видно, стекло изнутри покрылось инеем, так что, поднимая его, я подумал в первый момент, что держу в руках только пустую оболочку… он почти ничего не весил. Но это был он. Я оставил его и вернулся в его ракете. Осмотрев ее более тщательно, я понял, почему так случилось. У него остановились часы, обыкновенные часы — он потерял счет времени. Эти часы отсчитывали часы и дни. Я исправил их и поставил так, чтобы никто не мог догадаться…

Я обнял Эри. Чувствовал, как мое дыхание чуть-чуть шевелит ее волосы. Она тронула шрам, и вдруг то, что было лаской, стало вопросом.

— У него такая форма…

— Странная, правда? Потому что его сшивали дважды, первый раз швы разошлись… Меня сшивал Турбер. Вентури, наш врач, к тому времени уже погиб…

— Тот, который дал тебе красную книжку?

— Да. Откуда ты знаешь, Эри? Разве я тебе говорил? Нет, этого быть не может.

— Ты разговаривал с Олафом, тогда, помнишь…

— Правда. И ты это запомнила! Такую мелочь. Вообще-то говоря, я свинья. Она осталась на «Прометее» вместе со всем остальным.

— У тебя там вещи? На Луне?

— Да. Но не стоит их привозить.

— Стоит, Эл.

— Знаешь, родная, получился бы музей воспоминаний. Я этого не вынесу. Если я привезу их, то только для того, чтобы сжечь: оставлю лишь несколько мелочей, которые у меня сохранились. Тот камешек, например.

— Какой камешек?

— У меня их много. Есть с Керенеи, есть с планетоида Томаса — только не думай, что я занимаюсь каким-то коллекционированием! Просто они застревали в нарезке подошв, Олаф выковырял их и спрятал, снабдив соответствующими надписями.

Я не мог его отговорить. Ерунда, но… я должен тебе это сказать. Да, должен, хотя бы для того, чтобы ты не думала, что там все было страшно и, кроме смерти, не было ничего. Представь себе… взаимопроникновение миров. Сначала розовый, воздушный, тончайший, розовая бесконечность, а в ней другая, пронизывающая ее, более темная, а дальше красное, почти синее, но это очень далеко, а вокруг самосвечение, невесомое, не так, как облако, не как туман — другое. Нет для этого слов. Мы вышли вдвоем из ракеты и смотрели. Эри, я этого не понимаю. Знаешь, у меня еще теперь подкатывается к горлу комок, так это было прекрасно. Подумай, там нет жизни. Нет растений, животных, птиц — ничего, никаких глаз, которые могли бы это увидеть. Я уверен, что от сотворения мира на это никто не смотрел, что мы с Ардером были первыми, и если бы не то, что у нас заело гравипеленгатор и мы сели, чтобы его отградуировать, потому что кварц лопнул и ртуть вылилась, то до конца света никто не стоял бы там и не видел бы этого. Разве это не дико? Мы не могли оттуда уйти. Забыли, зачем мы сели, только стояли и смотрели, стояли и смотрели.

— Что это было, Эл?

— Не знаю. Когда мы вернулись и рассказали,

Бель захотел полететь туда во что бы то ни стало, но не удалось. У нас было совсем немного резервной мощности. Мы сделали там массу снимков, но они не получились. На снимках все это выглядело как розовое молоко с лиловыми берегами, и Бель бредил о фосфоресценции кремниеводородных испарений; думаю, он и сам в это не верил, но с отчаяния, что ему не удастся этого исследовать, пытался как-то себе объяснить. Это было, как… как, собственно, ничего. Ничего подобного мы не знаем. Это не походило ни на что. У этого была колоссальная глубина, но это был не ландшафт. Я говорил тебе, эти оттенки, все более отдаленные и темные, так что даже в глазах рябило. Движения, собственно, нет. Плыло и остановилось. Изменялось, словно дышало, и все время оставалось тем же; кто знает, может быть, самым главным в этом были размеры? Словно за пределами этой ужасной, черной вечности существовала другая, иная вечность, другая бесконечность, такая собранная и гигантская, такая светлая, что, закрывая глаза, человек переставал в нее верить. Когда мы посмотрели друг на друга… Надо было знать Ардера. Я покажу тебе его фото. Это был парень крупнее меня, выглядел он так, словно мог пройти сквозь любую стену, даже не заметив ее. Говорил всегда

медленно. Ты слышала о… дыре на Керенее?

— Да.

— Он торчал там, в скале, под ним кипела раскаленная грязь, она в любой момент могла ударить вверх, в ту дыру, в которой он застрял, а он говорил: «Эл, подожди, я еще осмотрюсь. Может, если сниму баллон… нет, не снять, ремни перепутались. Но подожди еще». И так далее. Можно было подумать, что он разговаривает по телефону из номера гостиницы. Это не было позой, он таким был. Самый трезвый из всех нас: всегда рассчитывал. Поэтому Том полетел со мной, а не с Олафом, который был его другом, но об этом ты слышала…

— Да.

— Так вот… Ардер. Когда я на него посмотрел там, у него на глазах были слезы. Том Ардер. Но он совсем не стыдился, ни тогда, ни потом. Когда мы позднее говорили об этом, а говорили мы не раз, все возвращались к этому — другие злились. Думали, что мы делаем это умышленно и что-то скрываем. Потому что мы становились какими-то небесными. Смешно, да? Так вот. Мы посмотрели друг на друга, и нам в голову пришло одно и то же. Хотя мы еще не знали, отградуируем ли этот гравипеленг как следует. Без него мы не

нашли бы «Прометея». Мы подумали, что уже ради одного того, чтобы стоять там и смотреть на эту величественную и радостную игру красок, стоило здесь сесть.

— Вы стояли на возвышении?..

— Не знаю, Эри. Там была как бы другая перспектива. Мы смотрели как бы сверху, но там не было склона. Постой! Ты видела большой каньон Колорадо?

— Видела.

— Представь себе, что этот каньон в тысячу раз больше. Или нет, в миллион. Что он сделан из красного и розового золота, почти совершенно прозрачного, что видно насквозь все слои, перемычки, седловины его геологических формаций, что все это невесомо, течет и как бы безлико улыбается тебе. Нет, не то! Любимая, мы очень старались с Ардером как-то передать это товарищам, но из этого ничего не вышло. Тот камешек как раз оттуда… Ардер взял его на счастье. И всегда носил. На Керенее он тоже был с ним. Ардер держал его в коробочке из-под витаминов. Когда камешек начал рассыпаться, он обернул его ватой. Потом, когда я вернулся один, я нашел этот камешек, он лежал под койкой в его кабине. Наверное, выпал. Олаф, кажется, думал, что Ар-

дер из-за этого погиб, но не решался сказать мне, потому что это было слишком глупо… Что могло быть общего между каким-то камешком и тем проводничком, из-за которого у Ардера испортилось радио?..

VIII

Олаф все еще не подавал признаков жизни. Мое беспокойство сменилось угрызениями совести. Я опасался, не совершил ли он какого-нибудь безрассудства. Он ведь по-прежнему оставался один и был одинок еще больше, чем до этого я. Я не хотел втягивать Эри в непредвиденные случайности, а они могли возникнуть, если б я затеял розыски на собственный риск, поэтому я решил сначала поехать к Турберу. Я не был уверен, что попрошу у него совета. Просто хотел повидаться с ним. Адрес дал мне еще Олаф; Турбер работал в университетском центре Маллеолан. Я телеграммой известил его о своем приезде и впервые расстался с Эри. В последние дни она стала молчаливой и нервозной; я приписывал это беспокойству о судьбе Олафа. Я обещал, что вернусь по возможности скоро, вероятнее всего дня через два, и после разговора с Турбером не предприму ничего, не посоветовавшись с нею.

Эри проводила меня до Хоулу, где я взял прямой ульдер. Пляжи Тихого океана уже пустели — приближалось время осенних штормов, из

прибрежных городков исчезли толпы ярко одетой молодежи, и меня не удивило, что я оказался почти единственным пассажиром серебристого снаряда. Полет в тучах длился около часа и закончился в сумерки. Город вынырнул из наступающей темноты многоцветным пожаром — самые высокие строения, «фужерники», горели во тьме, как тонкие неподвижные языки пламени, их силуэты, соединенные воздушными дугами верхнего уровня коммуникаций, светились среди белого тумана огромными бабочками. Нижние ярусы улиц образовали взаимопроникающие, извилистые, цветные реки. Может быть, из-за тумана, а может, благодаря эффекту прозрачности строительного материала центр с высоты казался спиралевидным сгустком искрящегося стекла, островом, усыпанным драгоценностями среди океана, зеркальная поверхность которого отражала все слабее просвечивающие ярусы, вплоть до самых нижних, уже едва видимых, словно из подземелий города просвечивал его рубиновый скелет. Трудно было поверить, что эта феерия проплывающих друг сквозь друга огней и цветов — просто жилище нескольких миллионов людей.

Университетский комплекс находился за го-

родом. Именно там, внутри огромного парка, на бетонной площади опустился мой ульдер. О близости города свидетельствовало лишь бледно-серебристое зарево, охватывающее небо над черной стеной деревьев. Длинная аллея привела меня к главному зданию, темному, словно вымершему.

Едва я открыл огромные стеклянные двери, внутри загорелся свет. Я оказался в холле с куполообразным потолком. Пол был выложен бледно-голубыми плитками. Лабиринт звуконепроницаемых коридорчиков привел меня к длинному коридору, прямому и строгому. Я открывал то одни, то другие двери, но все помещения были пусты и как бы давно покинуты. Я поднялся наверх по обычной лестнице. Наверное, где-нибудь поблизости был лифт, но мне не хотелось его искать. К тому же эта неподвижная лестница была любопытной диковинкой. Наверху в обе стороны тянулся такой же коридор и такие же пустые комнаты; на дверях одной из них я увидел небольшой листок с четко выведенными словами: «Здесь, Брегг». Я постучал и тотчас услышал голос Турбера.

Я вошел. Он сидел, освещенный низко опущенной лампой, сгорбившись на фоне тьмы, царящей

за окном, занимавшим всю стену. Столик, за которым он работал, был завален бумагами и книгами — настоящими книгами, — а на другом столике, поменьше, были насыпаны целые горы кристаллического «зерна» и стояли различные аппараты. Перед ним возвышалась стопка листков и ручка, обыкновенная, которую обмакивают в чернила; он делал пометки на полях.

— Садись, — сказал Турбер, не поднимая головы. — Я сейчас кончу.

Я сел на низкое кресло около стола, однако тут же отодвинул его, потому что свет превращал лицо Турбера в расплывчатое пятно, а я хотел рассмотреть его как следует.

Он работал по-своему, медленно, наклоном головы и движением бровей защищаясь от света лампы. Это была одна из самых скромных комнат, какие мне до сих пор довелось видеть, с матовыми стенами, без следа надоевшего золота. По обе стороны двери виднелись четырехугольные, сейчас слепые экраны, стену рядом с окном занимали металлические шкафчики, около одного стоял большой рулон карт или чертежей — вот, собственно, и все. Я перевел взгляд на Турбера. Лысый, массивный, тяжелый, он писал, время от времени стряхивая костяшками пальцев слезу с

глаз. Глаза у него всегда слезились, а Гимма (он любил выдавать чужие секреты, тем более такие, которые люди особенно старались скрыть) как-то сказал мне, что Турбер опасается за свое зрение. Тогда я понял, почему он всегда ложился первым, когда мы изменяли ускорение, и почему в последние годы позволял, чтобы его заменяли в работах, которые прежде он всегда выполнял сам.

Он обеими руками собрал бумаги, стукнул ими о стол, подравнивая края, спрятал в папку, закрыл ее и только тогда, опуская большие руки с толстыми и как бы с трудом сгибающимися пальцами, сказал:

— Привет, Эл. Как дела?

— Не могу пожаловаться. Ты… один?

— Это должно значить: тут ли Гимма? Нет. Его нет, вылетел вчера. В Европу.

— Работаешь?..

— Да.

Наступило короткое молчание. Я не знал, как он отнесется к тому, что я собирался сказать, и хотел сначала выяснить его взгляды на мир, в котором мы очутились. Правда, зная его, я не мог ожидать особой откровенности. Он не любил делиться впечатлениями.

— И давно ты уже здесь?

— Брегг, — сказал он, продолжая хранить неподвижность, — не думаю, чтобы это тебя интересовало. Что-то ты крутишь.

— Возможно, — сказал я. — Значит, мне говорить?

Я ощущал то внутреннее беспокойство, что-то среднее между робостью и раздражением, которое всегда охватывало меня в его присутствии — других, кажется, тоже. Никогда нельзя было понять, шутит он, издевается или говорит серьезно; при всем спокойствии, всем внимании, которое он проявлял к собеседнику, он сам всегда оставался абсолютно неуловимым.

— Нет, — сказал он. — Может, потом. Откуда ты прилетел?

— Из Хоулу.

— Прямо оттуда.

— Да… А почему ты спрашиваешь?

— Это хорошо, — сказал он, словно не расслышал моего последнего вопроса. Секунд пять он смотрел на меня неподвижным взглядом, словно желал убедиться в моем присутствии. Его глаза не выражали ничего, но я уже знал: что-то случилось. Только не был уверен, скажет ли он мне. Его поступков я не умел предвидеть. Пока я раздумывал, как начать, он между тем все внимательнее

присматривался ко мне, будто не узнавал.

— Что делает Вабах? — спросил я, чувствуя, что этот молчаливый осмотр затянулся сверх меры.

— Поехал с Гиммой.

Я не о том спрашивал, и он это знал, но в конце концов я ведь приехал не из-за Вабаха. Опять наступило молчание. Я уже начал сожалеть о своем решении.

— Я слышал, ты женился, — сказал он вдруг, словно нехотя.

— Да, — ответил я, быть может, чересчур сухо.

— Это пошло тебе на пользу.

Я пытался во что бы то ни стало найти другую тему. Кроме Олафа, ничто не приходило на ум, а о нем я еще не хотел спрашивать. Боялся улыбки Турбера — помнил, как он ухитрялся доводить ею до отчаяния Гимму, да и не только Гимму. Но он только слегка приподнял брови и спросил:

— Какие у тебя планы?

— Никаких, — ответил я, не покривив душой.

— А ты хотел бы чем-нибудь заняться?

— Да. Но нечем было.

— Ты до сих пор ничего не делал?

Теперь я наверняка покраснел. Меня разбирала злость.

— Почти ничего. Турбер… я… я пришел не по

своему делу.

— Знаю, — сказал он спокойно. — Стааве, да?

— Да.

— В этом был определенный риск, — сказал он и легко оттолкнулся от стола. Кресло послушно повернулось в мою сторону.

— Освамм ожидал самого худшего, особенно после того, как Стааве выкинул свой гипногог… Ты тоже его выкинул, а?

— Освамм? — сказал я. — Какой Освамм?.. Постой, тот из Адапта?

— Да. Больше всего он волновался за Стааве. Я вывел его из заблуждения.

— Как это — вывел? Кого?

— Но Гимма поручился за вас обоих… — докончил Турбер, словно и не слышал меня.

— Что?! — сказал я, поднимаясь с кресла. — Гимма?

— Конечно, он и сам был не очень уверен, — продолжал свое Турбер, — и сказал мне об этом.

— Так на кой черт он ручался! — взорвался я, ошеломленный его словами.

— Он считал, что это его долг, — лаконично объяснил Турбер, — что руководитель экспедиции обязан знать своих людей…

— Чепуха…

— Я просто повторяю то, что он сказал Освамму.

— Да? — сказал я. — А чего же все-таки боялся этот Освамм? Что мы взбунтуемся, что ли?

— А у тебя не было такого желания? — спокойно спросил Турбер.

Я задумался. Потом сказал:

— Нет. Всерьез никогда.

— И ты дашь бетризовать своих детей.

— А ты? — медленно спросил я.

Впервые с момента встречи он улыбнулся движением бескровных губ и ничего не сказал.

— Слушай, Турбер… помнишь тот вечер, после последнего разведывательного полета над Бетой… когда я тебе сказал…

Он равнодушно кивнул. Неожиданно мое терпение лопнуло.

— Я тогда сказал тебе не все. Мы были там вместе, но не на равных правах. Я слушался вас, тебя, Гимму, потому что сам этого хотел. Все хотели: Вентури, Томас, Эннессон и Ардер, которому Гимма не дал запаса, потому что прятал его для более ответственного случая. Порядок. Только по какому праву ты сейчас говоришь со мной так, словно все время сидел в этом кресле? Ведь это ты послал Ардера вниз, на Керенею, во имя науки,

Турбер, а я вытащил его во имя его несчастной требухи. Мы вернулись, и, оказывается, осталась только правота требухи. Только она сейчас принимается в расчет. А наука нет. Так что, может, я должен сейчас спрашивать тебя о самочувствии и ручаться за тебя, а не наоборот? Как ты думаешь? Я знаю, что ты думаешь. Ты привез груду материалов, и тебе есть во что спрятаться до конца жизни, и ты знаешь, что никто из этих любезнейших не скажет тебе: сколько стоил этот спектральный анализ? Одного? Двух человек? Не кажется ли вам, профессор Турбер, что это немного дороговато? Никто тебе этого не скажет, потому что у них нет с нами никаких счетов. Но у Вентури есть. И у Ардера, и Эннессона, и у Томаса. Чем ты будешь тогда платить, Турбер? Тем, что выведешь Освамма из заблуждения относительно меня? А Гимма тем, что поручится за нас с Олафом? Когда я увидел тебя впервые, ты делал совершенно то же самое, что сейчас. Это было в Аппрену. Ты сидел за бумагами и смотрел, как сейчас: в перерыве между более важными делами, во имя науки… — Я встал.

— Поблагодари Гимму за то, что он за нас заступился…

Турбер тоже встал. Некоторое время мы при-

стально смотрели друг на друга. Он был ниже меня, но это не чувствовалось. Его рост не имел значения. В его глазах сквозило невозмутимое спокойствие.

— Ты дашь мне сказать или я уже осужден? — спросил он. Я пробормотал что-то невразумительное.

— Тогда сядь, — сказал он и, не ожидая, сам тяжело опустился в кресло.

Я сел.

— Однако кое-что ты все-таки сделал, — сказал он таким тоном, словно мы до сих пор болтали о погоде. — Прочел Старка, поверил ему, считаешь себя обманутым и ищешь теперь виновных. Если тебе это действительно важно, могу взять вину на себя. Но дело не в этом. И Старк убедил тебя после тех десяти лет? Брегг, я знал, что ты человек неуравновешенный, но что глупый — не предполагал. — Он на минуту замолк, а я — странное дело — сразу почувствовал облегчение и как будто освобождение. У меня не было времени особенно вникать в свои чувства, потому что он снова заговорил.

— Контакт галактических цивилизаций? Кто тебе о нем говорил? Ни один из нас, и никто из классиков, ни Меркью, ни Симониади, ни

Радж Нгамиели, никто, ни одна экспедиция не рассчитывала на контакт, и поэтому вся эта болтовня о путешествующих в пустоте посланцах уже несуществующих миров, об этой вечно опаздывающей галактической почте является опровержением тезисов, которых никто не выдвигал. Что нам дадут звезды? А какие выгоды были от экспедиции Амундсена? Андре? Никаких. Единственная польза заключалась в том, что была доказана возможность. Что это можно сделать. А говоря точней, что для данной эпохи это самое трудное из всего, что возможно достигнуть. Не знаю, сделали ли мы даже это, Брегг. Правда не знаю. Но мы были там.

Я молчал. Турбер уже не смотрел на меня. Опершись ладонями о край стола.

— Что тебе доказал Старк — бесполезность космодромии? Как будто мы этого сами не знали. А полюсы? Что было на полюсах? Те, кто их завоевал, знали, что там ничего нет. А Луна? Чего искала группа Росса в кратере Эратосфена? Бриллианты? А зачем Бант и Егорин прошли центр диска Меркурия? Чтобы загореть? А Келлен и Оффшаг? Единственное, что они знали наверняка, летя к холодному облаку Цербера, так это то, что в нем можно погибнуть. Понял ли ты истин-

ный смысл того, что говорил Старк? «Человек должен есть, пить и одеваться, все остальное безумие». У каждого есть свой Старк, Брегг, у каждой эпохи. Зачем Гимма послал тебя и Ардера? Чтобы вы взяли пробы коронососом. Кто послал Гимму? Наука. Это звучит по-деловому, не правда ли? Исследование звезд. Брегг, не думаешь ли ты, что мы не полетели бы, если бы звезд не было? Я думаю, что полетели бы. Мы бы изучали пустоту, чтобы как-то оправдать свой полет. Геонидес или кто-нибудь другой сказал бы нам, какие ценные измерения и исследования можно провести по пути. Пойми меня правильно. Я не говорю, что звезды только предлог. Ведь и полюс не был предлогом. Это было необходимо Нансену и Андре. Эверест нужен был Меллори и Ирвингу больше, чем воздух. Ты говоришь, что я приказывал вам… во имя науки? Ведь ты знаешь, что это неправда. Ты испытал мою память. Может быть, теперь я испытаю твою? Помнишь планетоид Томаса?

Я вздрогнул.

— Ты нас тогда обманул. Ты полетел второй раз, зная, что он уже мертв. Правда?

Я молчал.

— Я догадался уже тогда. Я не говорил об этом с Гиммой, но думаю, что и он тоже знал, зачем

ты тогда летел, Брегг? Это был уже не Арктур или Керенея, и некого было спасать. Зачем ты туда полез?

Я молчал. Турбер слегка усмехнулся:

— Знаешь, что было нашим несчастьем, Брегг? То, что нам повезло и мы сидим тут. Человек всегда возвращается с пустыми руками…

Он замолчал. Улыбка исчезла. Лицо стало каким-то бездумным. Несколько секунд он дышал немного громче, сжимая руками край стола. Я смотрел на него, как будто увидел его впервые, я заметил, что он уже стар, и это открытие потрясло меня. Мне никогда не приходило это в голову, словно он вообще не имел возраста…

— Турбер, — сказал я тихо, — слушай… но ведь это… это только надгробная речь над могилой тех несчастных. Таких уже нет. И не будет. Значит, все-таки Старк выходит победителем?..

Он обнажил желтые зубы, но это не была улыбка.

— Дай мне слово, Брегг, что никому не повторишь того, что я тебе скажу.

Я колебался.

— Никому, — повторил он настойчиво.

— Хорошо.

Он встал, прошел в угол, взял рулон свернутых

бумаг и вернулся к столу.

Бумага шелестела, развертывалась у него в руках. Я увидел красную, словно кровью нарисованную, рыбу в разрезе.

— Турбер!

— Да, — ответил он спокойно, обеими руками сворачивая рулон и опираясь на него, как на ружье.

— Когда? Куда?

— Не скоро. К Центру.

— Облако Стрельца?.. — прошептал я.

— Да. Приготовления потребуют времени. Но благодаря анабиозу…

Он продолжал говорить, а до меня доходили только отдельные слова: «полет в петле», «безгравитационное ускорение». Возбуждение, охватившее меня, когда я увидел вычерченный конструкторами контур огромной ракеты, сменилось неожиданной апатией, из которой, как сквозь наступающий мрак, я рассматривал свои сложенные на коленях руки. Турбер перестал говорить, взглянул на меня из-под опущенных век, подошел к столу и начал собирать папки с бумагами; он как бы давал мне время освоиться с невероятным известием. Я должен был бы закидать его вопросами: кто из нас, старых, по-

летит, сколько лет займет экспедиция, каковы ее цели, но я не спросил ни о чем. Даже о том, почему это держится в тайне. Я посмотрел на его большие загрубевшие руки, на которых преклонный возраст проступал явственней, чем на лице, и к моему отупению примешалась крупица удовлетворения, столь же неожиданного, сколь и подлого, — что и он, конечно, тоже не полетит. «Не доживет до их возвращения, если даже побьет рекорд Мафусаила», — подумал я. Все равно. Это уже не имело никакого значения. Я встал. Турбер шелестел бумагами.

— Брегг, — сказал он, не поднимая глаз, — мне надо немного поработать. Если хочешь, поужинаем вместе. Переночевать сможешь в дормитории, там сейчас пусто.

Я проворчал «ладно» и пошел к двери. Турбер уже работал, словно меня тут и не было. Я на минуту задержался у порога и вышел. Некоторое время я не мог сообразить, где я, пока не услышал странный, размеренный звук, отголосок собственных шагов. Я остановился посреди длинного коридора, между двумя рядами одинаковых дверей. Эхо шагов все еще было слышно. Обман слуха? Кто-то шел за мной? Я повернулся и заметил исчезнувшую в далеких дверях вы-

сокую фигуру. Это длилось так недолго, что я, собственно, увидел не человека, а только само движение, часть его спины и закрывающуюся дверь. Мне нечего тут было делать. Дальше идти не имело смысла — коридор кончался тупиком. Я повернул, прошел мимо большого окна, за которым над черным массивом парка серебрилось зарево города, опять остановился у двери с табличкой: «Здесь, Брегг», за которой работал Турбер. Я больше не хотел его видеть. Я ничего не мог ему сказать. Он мне тоже. Зачем я вообще приехал? Неожиданно, с удивлением, я вспомнил зачем. Надо было войти и спросить об Олафе, но не сейчас. Не сию минуту. Не то чтобы у меня не хватило сил — я чувствовал себя хорошо, — но со мной происходило что-то, чего я не понимал. Я двинулся к лестнице. Напротив нее были последние в ряду двери, те, за которыми минуту назад скрылся незнакомец. Я вспомнил, что заглядывал туда в самом начале, когда вошел в здание и разыскивал Турбера; узнал наклонную полоску ободранной краски. В этой комнате не было ничего. Что понадобилось в ней человеку, вошедшему туда?

Уверенный, что он не искал ничего, а только хотел скрыться от меня, я долго в нерешительности

стоял перед лестницей, пустой, освещенной белым неподвижным светом. Постепенно, дюйм за дюймом, я повернулся. Меня охватило странное беспокойство, собственно, даже не беспокойство, я ничего не боялся — я весь был как бы после анестезии: напряженный, хотя и спокойный; сделал два шага, напряг слух, прищурил глаза, и тогда мне показалось, что я слышу — по другую сторону двери — дыхание. Невероятно. «Уйду», — решил я, но это было уже невозможно, слишком много внимания я уделил этой дурацкой двери, чтобы просто так взять и уйти. Я открыл ее и заглянул внутрь. Под маленькой потолочной лампой посередине пустой комнаты стоял Олаф. Он был в своем старом свитере, с подвернутыми рукавами, словно только минуту назад бросил инструменты.

Мы смотрели друг на друга. Видя, что я не намерен прерывать молчание, он заговорил первым, правда, не очень уверенно:

— Как дела, Эл?..

Я и не думал притворяться, просто был потрясен обстоятельствами нашей неожиданной встречи, а может быть, еще не прошло ошеломляющее действие слов Турбера, во всяком случае, я не ответил. Я подошел к окну, из которого от-

крывался такой же вид на черный парк и зарево города, повернулся и присел на подоконник. Олаф не шелохнулся. Он все еще стоял посреди комнаты: из книги, которую он держал в руке, выскользнул листок бумаги и упал на пол. Мы одновременно наклонились; я поднял листок и увидел принципиальную схему корабля, того самого, что несколько минут назад показывал мне Турбер. Внизу виднелись пометки, сделанные рукой Олафа. «Значит, вот в чем дело», — подумал я. Он молчал, потому что летит сам и не хотел расстраивать меня этим сообщением. Я должен ему сказать, что он заблуждается, потому что меня совсем не интересует экспедиция. С меня довольно звезд, кроме того, я все уже знаю от Турбера, так что он может говорить со мной со спокойной совестью.

Держа чертеж в руке, я внимательно вглядывался в линии схемы, как бы оценивал обтекаемость ракеты, однако ничего не сказал, молча протянул ему бумагу, он взял ее, чуть помедлив, и, сложив вдвое, спрятал в книгу. Все это делалось молча, я убежден, что неумышленно, но эта сцена, может быть, именно потому, что она разыгралась в тишине, приобрела символический смысл, словно я принимал к сведению его предполагаемое уча-

стие в экспедиции и, возвращая ему схему, тем самым одобрял этот шаг, без энтузиазма, но и без сожаления. Когда я поискал его взгляда, он отвел глаза, чтобы тут же взглянуть на меня исподлобья — воплощение неуверенности или смущения. Даже теперь, когда я уже знал все? Тишина маленькой комнаты становилась невыносимой. Я слышал немного учащенное дыхание Олафа. Его лицо было усталым, и глаза не такими живыми, как тогда, когда мы виделись в последний раз, словно он много работал и мало спал, но было в них еще какое-то новое выражение, которого я не знал.

— У меня все в порядке… — сказал я, — а как ты?

Произнеся эти слова, я понял, что они уже запоздали, что они были бы уместны, как только я вошел, а теперь они прозвучали так, будто я обижен или даже издеваюсь над ним.

— Ты был у Турбера? — спросил он.

— Был.

— Студенты уехали… Тут сейчас никого нет, нам дали все здание… — начал он с видимым усилием.

— Чтобы вы могли разработать план экспедиции? — поддержал я разговор, а он торопливо

ответил:

— Да, Эл. Ну, ты, конечно, знаешь, что это за работа. Пока нас горстка, но у нас прекрасные машины, эти автоматы, знаешь…

— Это хорошо.

Снова наступило молчание. И странное дело, чем больше оно длилось, тем явственней становилось беспокойство Олафа, его подчеркнутая неподвижность. Он продолжал стоять как столб посредине комнаты, под самой лампой, как бы готовый к самому худшему. Я решил положить этому конец.

— Слушай-ка… — сказал я совершенно тихо, — как ты, собственно, себе это представлял?.. Страусовая политика никогда не оправдывается, знаешь… Не думал же ты, что без тебя я никогда не узнаю?

Он молчал, склонив голову набок. Я явно пересолил, потому что он ни в чем не был виноват, и на его месте я, наверно, и сам поступил бы так же. Впрочем, я нисколько не был на него обижен за его месячное молчание. Меня возмутила его попытка спрятаться от меня, когда он увидел, что я выхожу от Турбера, но этого я не решался ему сказать, это было слишком глупо и смешно. Я повысил голос, обругал его дураком, но он и тогда

не стал защищаться.

— Значит, ты считаешь, что говорить не о чем? — бросил я раздраженно.

— Это зависит от тебя…

— Как от меня?

— От тебя, — упорно повторил он. — Самым важным было, от кого ты узнаешь…

— Ты серьезно так считаешь?

— Так мне казалось…

— Это безразлично… — проворчал я.

— Что… ты собираешься делать? — тихо спросил он.

— Ничего.

Он недоверчиво смотрел на меня.

— Эл, ведь я… — Он не докончил.

Я чувствовал, что мучаю его одним своим присутствием, однако я все еще не мог простить ему неожиданного бегства; а уйти сейчас молча было бы совсем плохо. Я не знал, что делать; все, что связывало нас, было перечеркнуто. Я взглянул на него в тот момент, когда и он поднял на меня глаза, — каждый из нас сейчас, наверное, рассчитывал на помощь другого…

Я встал с подоконника.

— Олаф… уже поздно. Я пошел… Не думай, что… я обижен, ничего подобного. Мы еще встретимся,

может, ты к нам приедешь, — сказал я с трудом, каждое слово было неестественным, и он это чувствовал.

— Что ты… Останься хотя бы на ночь…

— Не могу, знаешь, я обещал…

Я не назвал ее имени.

Олаф пробормотал:

— Как хочешь. Я провожу тебя.

Мы вместе вышли из комнаты, потом спустились вниз; на улице было совершенно темно. Олаф молча шагал рядом; вдруг он остановился. Я тоже.

— Останься, — шепнул он смущенно. Я видел только смутное пятно его лица.

— Хорошо, — неожиданно согласился я и повернул. Он этого не ожидал. Минуту постоял еще, потом взял меня под руку и провел в другое, низкое здание; в пустом зале, освещенном несколькими лампами, мы, не садясь, поужинали у стойки. За все время мы не обменялись и десятком слов. Потом поднялись на второй этаж.

Комната, в которую он меня ввел, была почти совершенно квадратной, выдержанной в матово-белых тонах, ее широкие окна нацелены в парк с другой стороны. В них не было видно ни следа городского зарева над деревьями; в комнате сто-

яли свежезастеленная кровать, два небольших креслица, третье побольше, спинкой к окну. Через узкую приоткрытую дверь поблескивал кафель ванной. Олаф остановился на пороге, опустив руки, словно ждал, что я заговорю, а так как я молчал, прохаживаясь по комнате и машинально касаясь руками то стула, то спинки кровати, словно беря их в минутное пользование, он спросил тихо:

— Могу ли я… что-нибудь для тебя сделать?

— Да, — сказал я, — оставь меня одного.

Он продолжал стоять, не двигаясь с места. Его лицо покрылось румянцем, потом побледнело, вдруг на нем появилась улыбка. Олаф пытался смягчить оскорбление, потому что мои слова прозвучали как оскорбление. От этой растерянной, жалкой улыбки во мне что-то словно оборвалось; в судорожной попытке скинуть маску безразличия, которую я натянул на себя, так как ни на что иное не был способен, я подбежал к нему, когда он уже повернулся, чтобы уйти, схватил его за руку и стиснул ее изо всех сил, как бы прося этим стремительным пожатием прощения, а он, глядя на меня, осветил таким же крепким рукопожатием и вышел. Я ощущал еще его теплую и твердую руку, когда он старательно и тихо закрывал за

собой дверь, словно покидал комнату больного. Я остался один, как хотел.

В доме все молчало. Даже шагов удаляющегося Олафа не было слышно; в оконном стекле отражалась моя собственная тяжелая фигура, откуда-то шел теплый воздух; сквозь контуры моего отражения виднелась темная граница деревьев, тонущая во мраке, — я еще раз оглядел комнату и сел в большое кресло у окна.

Осенняя ночь только началась. О сне я не мог и думать. Повернулся к окну. Расстилающийся за ним мрак, должно быть, был наполнен холодом и шелестом безлистных, трущихся друг о друга ветвей; неожиданно мне захотелось очутиться там, побродить в темноте, в ее никем не распланированном хаосе. Не раздумывая, я вышел из комнаты. Коридор был пуст. До лестницы я шел на цыпочках, — пожалуй, излишняя предосторожность, потому что Олаф уже давно, наверно, отправился спать, а Турбер если и работал, то на другом этаже, в отдаленном крыле дома. Я сбежал вниз, уже не скрываясь, выскочил во двор и быстро зашагал вперед. Направления я не выбирал, шел так, чтобы городское зарево было по возможности в стороне. Аллеи парка скоро вывели меня за живую изгородь, я оказался на

дороге и некоторое время шел по ней, пока вдруг не остановился. Мне расхотелось идти по шоссе: оно вело к жилью, к людям, а я хотел быть один. Я вспомнил, что Олаф еще в Клавестре говорил мне о Маллеолане, новом городе в горах, построенном после нашего отлета; несколько километров шоссе, которые я прошел, действительно складывались из сплошных серпантинов, по-видимому обходящих отроги; но в наступающей темноте я мало что мог разглядеть. Эта дорога, как и другие, не была освещена — сама ее поверхность слегка фосфоресцировала, однако чересчур слабо, чтобы осветить даже растущие в нескольких шагах от нее кусты. Я свернул с шоссе, вслепую забрался в глубь маленькой рощицы и поднялся на большую, лишенную деревьев возвышенность — я почувствовал это по свободно гуляющему тут ветру; далеко внизу несколько раз мелькнула бледная змейка шоссе; потом исчез и этот последний свет; я снова остановился. Не столько бессильными в темноте глазами, сколько всем телом, лицом, подставленным ветру, я пытался разобраться в окружении, чуждом, как на неизвестной планете; я хотел кратчайшим путем добраться до одной из вершин, окружающих долину, в которой был расположен город, но как

найти нужное направление? Вдруг, когда вся затея уже показалась мне безнадежной, я услышал идущий с высоты, справа, протяжный, отдаленный гул, немного похожий на голос волн, но все же отличный от него, — шум, с которым ветер проносился по лесу, лежащему значительно выше того места, на котором я стоял. Не раздумывая, я поспешил в ту сторону. Поросший сухой, старой травой склон привел меня к первым деревьям. Я обходил их, вытянув руки, чтобы уберечь лицо от веток. Вскоре подъем стал более пологим, деревья расступились, я снова вынужден был выбирать направление, вслушиваясь во тьму, терпеливо ждал очередного, более сильного порыва ветра. И вот пространство отозвалось, с отдаленных высот долетело протяжное свистящее пение; да, ветер в эту ночь был моим союзником; я двинулся напрямик, не обращая внимания на то, что теперь довольно круто спускаюсь в глубь черной балки, и по ее наклонному дну начал размеренно идти вверх, и путь мне указывал журчащий где-то рядом ручеек. Я ни разу не увидел его, возможно, он бежал где-то под камнями; этот голос текущей воды становился все тише по мере того, как я поднимался вверх, и наконец умолк совершенно. Меня снова окружил лес, высокоствольный, на-

верно сосновый, почти совершенно лишенный подлеска. Землю покрывала мягкая подушка старой хвои, местами скользкая от лишайника.

Это блуждание вслепую продолжалось уже часа три; корни, о которые я спотыкался, все чаще охватывали выступающие из-под почвы наносные камни; я немного опасался, что вершина окажется поросшей лесом и в его лабиринте закончится этот едва начавшийся поход по горам, но мне везло: по голой поляне я добрался до полосы щебня, все круче поднимавшейся вверх. Стоило мне остановиться на секунду, как подо мной начинали с гулом плыть камни; перескакивая с ноги на ногу, спотыкаясь и падая, я добрался до бокового ската сужающейся расселины и пошел быстрее. Время от времени останавливаясь, я пытался рассмотреть хоть что-нибудь, но в темноте это было совершенно невозможно. Я не видел ни города, ни его зарева; от светящейся дороги, с которой я свернул, не осталось и следа; расселина вывела меня на поляну, поросшую сухой травой; о том, что я уже высоко, говорило все расширяющееся звездное небо, видимо, другие, заслоняющие его вершины начали сравниваться с той, на которую я взбирался. Пройдя еще несколько сотен шагов, я оказался среди

молодого сосняка.

Если бы меня кто-нибудь случайно остановил в ту ночь и спросил, куда и зачем я иду, я бы не мог ответить; к счастью, никого не было, и одиночество этого ночного марша я ощущал подсознательно, по крайней мере как минутное облегчение. Скат становился все круче, идти было все трудней, но я шел и шел, заботясь только о том, чтобы не сворачивать, словно передо мной была определенная цель. Сердце колотилось, легкие разрывались, а я исступленно рвался вперед, как бы в забытьи, чувствуя инстинктивно, что мне необходимо именно такое изматывающее усилие. Я разводил перед собой спутавшиеся ветки сосенок, иногда забирался в самую их гущу и шел дальше. Иглистые кисти стегали меня по лицу, по груди, цеплялись за одежду, пальцы стали липкими от смолы. Неожиданно на открытом месте налетел ветер, навалился на меня из темноты, неудержимо бил, свистя где-то высоко, где, по моим догадкам, был перевал. Потом меня опять окружил сосняк, в нем как бы застыли невидимые островки теплого воздуха, насыщенного терпким сосновым ароматом. На пути вырастали неясные преграды, наносные камни, пятна уползающего из-под ног щебня. Я

шел уже несколько часов, а все еще чувствовал в себе запас сил, достаточный, чтобы привести человека в отчаяние. Балка, ведущая к невидимой седловине, а может быть, к вершине, сузилась настолько, что на фоне неба были видны сразу оба ее склона, высокие, закрывающие звезды.

Давно уже осталась внизу полоса тумана, но эта холодная ночь была безлунной, а звезды давали мало света. Тем сильнее удивился я, увидев вокруг себя и над собой беловатые продолговатые пятна. Они лежали во мраке, не освещая его, словно еще днем набравшись блеска; только первый сыпкий хруст под ногами дал мне понять, что я вступил на снег. Снег тонким слоем покрывал почти всю остальную часть очень крутого склона. Я, наверно, промерз бы до костей, потому что был легко одет, но неожиданно ветер стих, и тем ясней раздавался в воздухе отзвук, с которым при каждом шаге я пробивал снежную скорлупу, проваливаясь до середины икр.

На самом перевале снега почти не было. Над щебнем черными силуэтами торчали голые валуны. Я остановился и посмотрел в сторону города. Его закрывал склон горы, и только тьма, рыжеватая, разреженная блеском его огней, выдавала то место, где в долине лежал город. Надо

мной дрожали звезды. Я сделал еще несколько шагов и опустился на седлообразный камень. Под ним собралось немного снега. Теперь я не видел даже слабых отсветов городского зарева. Передо мной во тьму врезались горы, призрачные, с вершинами, запорошенными снегом. Внимательно вглядевшись в восточный край горизонта, я заметил узкую серую полоску, размывающую звезды, — начало нового дня. На ее фоне вырисовывалась вертикальная, разрезанная пополам грань. И вдруг во мне что-то дрогнуло; бесформенный мрак снаружи — или внутри меня? — перемещался, отступал, изменял пропорции; я был так поглощен этим, что на мгновение как бы потерял зрение, а когда оно вернулось, я уже видел иначе.

Восточный край неба едва серел над полной мрака долиной, еще сильнее подчеркивая черноту темного отрога, но я мог бы на ощупь показать каждый его излом, каждую выбоину; я знал, какая картина откроется мне днем, потому что это было начертано во мне навсегда и накрепко. Это была та невероятная вещь, которой я желал, которая оставалась нетронутой, в то время как весь мой мир распался и погиб в полуторавековой пасти времени. Здесь, в этой долине, я провел

годы детства — в старом деревянном домике на противоположном, травянистом склоне Ловца Туч. От развалины, наверное, не осталось и следа, последние балки давно сгнили и превратились в прах, а скалистый хребет стоял, неизменный, словно ожидал этой встречи; может быть, неясное, подсознательное воспоминание привело меня ночью именно на это место?

Вся моя слабость, которую я так отчаянно подавлял сначала притворным спокойствием, потом исступленным подъемом в горы, вдруг, будто освобожденная потрясением, хлынула на меня. Я наклонился и, не стыдясь дрожи в пальцах, глотал снег, и его тающий на губах холод не утолял жажды, но усиливал мою трезвость. Я сидел так и ел снег, теперь уже только ожидая первых лучей солнца, которые должны были подтвердить мою догадку. Задолго до того, как оно взошло, с высоты, с медленно гаснувших звезд слетела птица, сложила крылья, сразу уменьшилась и, опустившись на наклонившийся обломок скалы, начала приближаться ко мне. Я застыл, боясь ее спугнуть. Она обошла вокруг меня и удалилась, а когда я подумал, что она не заметила меня, вернулась с другой стороны, обойдя камень, на котором я сидел; мы долго смотрели друг на дру-

га, наконец я тихо сказал:

— Откуда ты тут взялась?

Видя, что она не боится, я опять принялся за снег. Она наклонила головку, вглядываясь в меня черными бусинками глаз, неожиданно, словно насмотревшись досыта, расправила крылья и улетела. А я, опираясь о шершавую поверхность камня, скорчившись, замерзший, ждал рассвета, и вся эта ночь возвращалась в бурных, отрывочных воспоминаниях — Турбер, его слова; молчание — мое и Олафа; вид города; красный туман и просветы в нем, образованные воронками огней; горячие потоки воздуха; висящие площади и аллеи, фужерники с огненными крыльями; не совсем вразумительный разговор с птицей на поляне и то, как я жадно глотал снег, — все эти картины были и одновременно не были, как иногда во сне; они были напоминанием и умолчанием о том, чего я не смел затронуть, потому что все время пытался найти в себе согласие с тем, с чем не мог согласиться. Но это было раньше — именно как сон. Сейчас, трезвый и чуткий, ожидая дня, видя, как в воздухе, почти серебряном от рассвета, медленно возникают, выплывают из ночи суровые горные стены, ущелья, осыпи, будто молчаливо подтверждая реальность

возвращения, я впервые сам — не чужой на Земле, уже подвластный ей и ее законам — мог без возмущения, без обиды думать о тех, кто улетает за золотым руном звезд…

Снега вершины зажглись золотом и белизной, она стояла над долиной, залитой лиловым сумраком, мощная и вечная, а я, не закрывая глаз, полных слез, преломляющих ее свет, медленно встал и начал спускаться по осыпи на юг, туда, где был мой дом.